Давным-давно, еще с военных времен, с детства своего, помню я почему-то одну патефонную пластинку из коллекции моего отца. Старую, заезженную пластинку, которую очень часто ставили в нашем доме. И пел там еврейскую песню на идиш певец Эпельбаум, и повторял он каждый куплет по-русски. Сколько с той поры прошло лет, а я до сих пор помню эту песню...

За горами, за долами
Голуби летели,
Голуби летели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели...

Это старая песня, которую слушали наши деды, и пели наши деды, и слова, и смысл этой песни — о них, про них, про их скудную и беспросветную жизнь в тесных, скученных местечках Украины. И всякий раз, оглядываясь вокруг, они ожидали лучшего, наши деды, думали о лучшем, надеялись на лучшее...

Запрягайте, хлопцы, коней:
Кони вороные,
Кони вороные.
Мы поедем догонять
Годы молодые.
Мы поедем догонять
Годы молодые...

И прошло время, и пришла революция, и принесла

освобождение, и помчались в разные стороны, прочь из опостылевших местечек, дети наших дедов — наши отцы. И заторопились пожить, заторопились успеть побольше, выучиться в институтах, подняться по служебным лестницам, все увидеть, все понять и почувствовать в отведенные годы, добиться от жизни немалого для себя, для детей своих...

Мы догнали наши годы
На широком мосте,
На широком мосте.
Юны годы, воротитесь
К нам обратно в гости.
Юны годы, воротитесь
К нам обратно в гости...

И выросли, наконец, мы, дети своих отцов, внуки местечковых дедов, и огляделись по сторонам, и призадумались, а что же мы приобрели за эти годы, что же мы потеряли. И решили одни, что приобрели мы все, ничего не потеряв, потому что ничуть не жалко потерянного, традиционного, дедовского. И решили другие, что потеряли мы все, ничего не приобретя, потому что приобретенное мало чего стоит по сравнению с потерянным...

Нет, не можем воротиться:
Годы не вернуть,
Годы не вернуть.
Что прошло, не возвратится —
Прошлое забудь.
Что прошло, не возвратится —
Прошлое забудь...

Вот такая эта песня, которую пел еще в моем детстве еврейский певец Эпельбаум. Вот такая эта судьба наша, что досталась на долю трех соседних поколений. Несчастных дедов, что заперты были насильно в тесных местечках. Счастливых отцов, что выр-

вались из закрытых местечек в открытый, заманчивый мир. И растерянных детей, которым снова надо что-то решать...

За горами, за долами
Голуби летели,
Голуби летели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели...

"Мы, восемнадцать верующих еврейских семей Грузии, просим вас помочь нам выехать в Израиль.

Мы послали сотни писем и телеграмм – они исчезли, как слезы в песке пустыни; мы слышим односложные устные отказы, мы не видим письменных ответов, никто ничего не объясняет, судьба наша никого не волнует.

Но мы ждем, ибо веруем..."

– ВЫ НЕ УЕДЕТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИЗРАИЛЬ НЕ ВЫВЕДЕТ СВОИ ВОЙСКА С ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЛКОВНИК ГРИГОРЬЕВ.

"Мы будем ждать месяцы и годы, если потребуется – всю жизнь, но не отречемся от веры и надежды своей.

Мы верим: молитвы наши дошли до Бога.

Мы знаем: призывы наши дойдут до людей.

Ибо мы просим немногого – отпустить нас в землю предков..."

– ...ВАС, ЕВРЕЕВ, СЛИШКОМ МНОГО, МЫ ВАС НЕ ВЫПУСТИМ, МЫ ВАС ЗДЕСЬ ДОКОНАЕМ.

АРХИПОВА Е. П., ОФИЦЕР МВД.

"Господин председатель!

Я молодой человек, который только начинает жить в этом прекрасном мире. Я хочу жить, учиться и работать на своей национальной родине – Израиле, который был дарован нашему народу Богом Авраама, Исаака и Иакова. В этом я вижу цель всей своей жизни, оправдание своего существования. Почему же я должен страдать, испытывать муки, не имея права жить так, как мне повелевает мое человеческое естество? Невозможность осуществить мое стремление терзает мне душу, я в смятении...

Господин председатель! Я хочу жить, помогите мне!"

– ВАС НИКОГДА НЕ ВЫПУСТЯТ, ПОТОМУ ЧТО СЛИШКОМ МОЛОД. ПОРАБОТАЙТЕ СПЕРВА, ДОЖИВИТЕ ДО ПЕНСИИ, А ТАМ ВИДНО БУДЕТ...

СОТРУДНИК РИЖСКОГО ОВИРА.

"Я не могу смириться с мыслью, что мой сын никогда не пойдет в еврейскую школу, не прочтет еврейской газеты, книги, не увидит еврейского спектакля, фильма, не познает еврейскую историю, культуру, никогда не сможет с полным правом произнести: "Мой язык, моя история, мой народ, моя Родина!.."

– ЕЩЕ ЧЕГО ЗАХОТЕЛ! ОН ДУМАЛ, ЧТО ИМ ОТКРОЮТ ШКОЛЫ И ТЕАТРЫ! РУССКИЙ НАРОД ВЫДЕЛИЛ ВАМ БИРОБИДЖАН, И ПОЕЗЖАЙТЕ ТУДА!

ПРОКУРОР СОЛОВЬЕВ.

"Сорок девять моих обращений были исправно доставлены почтой адресатам. И ни на одно из них я не получил ответа..."

– МЫ УЛЫБАЕМСЯ ЗДЕСЬ, КОГДА ВЫ ПРИНОСИТЕ ДОКУМЕНТЫ...

"Некоторые из нас уже успели состариться, так как подают документы уже более десяти лет..."

– НИ ЧЕРЕЗ ГОД, НИ ЧЕРЕЗ ДВА, НИ КОГДА-НИБУДЬ В БУДУЩЕМ...

"И борясь с ужасом, сковывающим мозг, я думаю: "Только бы выжить..."

– ОТРАБОТАЙТЕ СНАЧАЛА РУССКИЙ ХЛЕБ, КОТОРЫЙ ВЫ ЕЛИ...

359U0

"Прошу выпустить меня к моей маме, сестренке, братику, бабушке и дедушке..."

– МЫ НЕ СМОЖЕМ ВАС ОТПУСТИТЬ, ПОКА В ИЗРАИЛЕ НЕ УТВЕРДИТСЯ ПРОГРЕССИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ...

"Хочу домой! Хочу в Израиль!

Крик души, чаяния всей жизни, да будут услышаны Богом и людьми!.."

– ВЫ ПОЕДЕТЕ НЕ В ИЗРАИЛЬ, А В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ...

"Настоящим заявляю, что считаю себя гражданином еврейского государства Израиль.

Прошу в кратчайший срок лишить меня советского гражданства, пребывание в котором для меня невозможно..."

– Я ЗНАЮ, ЧТО НАШЕ ГРАЖДАНСТВО ВАМ ОТВРАТИТЕЛЬНО. МОЖЕТЕ ОБИЖАТЬ, ОСКОРБЛЯТЬ. НО МЫ КОММУНИСТЫ, И СТЕРПИМ ВСЕ...

"Когда я ему начал перечислять законы, которые он нарушает, дело приняло крутой поворот. И тогда товарищ Савко ответил, что если я такой нахал, то он вообще никогда не разрешит. И вообще не желает больше меня принимать. Что, мол, к нему приходят на прием евреи, плачут и умоляют отпустить, а я начинаю с законов. Если бы я его красиво попросил, то, может, и пустил бы, а так нет!.."

– ВАС НИКОГДА ОТСЮДА НЕ ВЫПУСТЯТ, ВЫ ЗДЕСЬ СГНИЕТЕ! УБИРАЙТЕСЬ ВОН!

ПОЛКОВНИК КАЙЗ

"Одного за другим арестовывают друзей, и, очевидно, в ближайшие дни черед за мной. В чем моя вина? Не знаю, какая статья и какая формулировка придет в голову моим обвинителям. Знаю только, что совесть моя чиста..."

– ПОСМОТРИТЕ НА ЭТУ НАХАЛКУ! ДА КАК ТЫ МОЖЕШЬ ХОДИТЬ ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ И ЖРАТЬ РУССКИЙ ХЛЕБ!

ПОЛКОВНИК САСЛЮК.

"Я не знаю, как сложится моя судьба. Я не знаю, сколько лет жизни, сколько сил и здоровья отнимут у меня тюрьма или лагерь. Но всем, кого не оставит равнодушным это письмо, я обещаю, что никогда в жизни ничто не сможет отнять у меня совести и сердца..."

– ЕСЛИ НЕ БУДЕШЬ ВЕСТИ СЕБЯ ТИХО, Я СДЕЛАЮ С ТОБОЙ ТО ЖЕ, ЧТО СДЕЛАЛ С ЛЕВИНЗОНОМ. Я ОБЕЩАЛ ЕМУ ТЮРЬМУ – ОН ЕЕ ПОЛУЧИЛ.

ТЕЛИЦЫН, СОТРУДНИК КГБ.

"В тюрьме нас обыскали, раздев донага. После обыска мы были помещены в бокс, где почувствовали, что лишились не только свободы, но и воздуха. У Фингермана из-за недостатка воздуха повторился сердечный приступ. Однако требование открыть дверь осталось безответным. Опасаясь за его здоровье, мы скандировали: "Человеку плохо, позовите врача!" Кто-то ответил: "Можете подыхать". Второй голос спросил: "Кто это?", на что первый сказал: "Жиды..."

– НЕ МЫ НА ВАШЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВЕМ, А ВЫ НА НАЕЙ...

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОТРУДНИК.

"Но помните, что впоследствии вам не удастся оправдаться, как вы оправдывались в попустительстве преступлениям недавнего прошлого: "Мы не знали – а если знали, то не верили – а если верили, то ничего не могли поделать..."

– МЫ ГУМАННОЕ ГОСУДАРСТВО И НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПОСЛЕ НАС ОСТАВАЛИСЬ ТАКИЕ ЖЕ ДОКУМЕНТЫ, КАК ПОСЛЕ 1937 ГОДА. НО ВСЕ, КТО БУДЕТ МЕШАТЬ НАМ СТРОИТЬ СВЕТЛОЕ ЗДАНИЕ КОММУНИЗМА И ПУТАТЬСЯ ПОД НОГАМИ, БУДУТ НАКАЗАНЫ. ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ С ТАТАРАМИ...

Н. А. ЩЕЛОКОВ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

"Мы, восемнадцать верующих еврейских семей Грузии, напоминаем вам, что живы и молимся о возвращении в Израиль.

Пусть наши молитвы проникнут в ваш ум и в вашу совесть. Мы ждем от вас помощи, ибо время торопит.

Мы ничего не боимся, ибо, живые или мертвые, мы – дети Израиля.

Кто поможет нам?..."

Страница первая

СНАЧАЛА ОНИ УБИЛИ КОРОЛЯ ЛИРА..

1.

"Виновных нет, поверь, виновных нет:
Никто не совершает преступлений.
Берусь тебе любого оправдать,
Затем что вправе рот зажать любому".
В. Шекспир, "Король Лир".

Сначала они убили короля Лира.

Они убили короля Лира в городе Минске и назвали это "автомобильной катастрофой".

Они убили короля Лира в городе Минске, в январе сорок восьмого года, и поместили в газетах огромные некрологи. "Народный артист!.. Лауреат!.. Художественный руководитель!.. Профессор!.. Председатель еврейского антифашистского комитета!.."

Они убили короля Лира в городе Минске, в январе сорок восьмого года, ночью, на улице, скорее всего — ударом в висок, и устроили ему в Москве пышные похороны. Говорят, таких похорон не было со времен Максима Горького. Убийцы умели хоронить свои жертвы. Им это нравилось. В этом была своя эстетика.

Звучала траурная мелодия: "Кто мне скажет, кто сочтет, сколько жизни мне осталось?"

В почетном карауле стояли друзья вперемежку с врагами.

Бесконечная вереница двигалась вдоль бульвара, потом по переулку, потом по театру...

Морозные дни. Январские сугробы. Пар изо рта. Зябко и печально. Стыло и промозгло. Холодно и страшно.

На куче снега, как на подмостках, все время играл на холоде никому неведомый скрипач.

Мимо скрипача шли подданные короля.

"Иногда, – говорил он, – мне кажется, что я – один отвечаю за весь мой народ, не говоря уж о театре".

Умер тот, кто не мог умереть, не имел на то права. Его смерть делала уязвимыми его подданных. Этого тогда еще не понимали. Это поняли потом.

Фамилия у короля была – Михоэлс. Имя – Соломон. Соломон Михоэлс, король-еврей.

Мудрый острослов, прирожденный комедиант, монументальный и подвижный, грустный и лучезарный, с тепло подсвеченными выразительными глазами, одинаково готовый до исступления работать и до самозабвения веселиться.

"Скажи, – спрашивал он, глядя на Москву сверху, с Воробьевых гор, – ну почему эту всю красоту видишь именно сверху?! Ведь там, внизу, это обычные будни! А отсюда – праздник! Только подумать – от будней до праздника – всего и надо, что самому приподняться!"

Еще живой, король знал, что за ним следят. Еще живой, король чувствовал тревожное приближение беды. Еще живой, король остерегался ходить вечерами по тусклым московским улицам.

Как будто от них можно было уберечься!

"Человек, – писал он, – никогда не живет один. Человек живет всегда рядом с кем-нибудь и для кого-нибудь. Только смерть несет полное одиночество, и поэтому человек боится ее. В смерть каждому приходится уходить одному. В этом трагедия боязни смерти".

В последние годы жизни ему постоянно снились собаки, которые его разрывают. Он метался ночами, просыпался со страшными криками.

В последние месяцы жизни он часто повторял своим актерам, печально и беспомощно: "Как вы тут без меня останетесь?!.."

В последние дни перед Минском он побывал, как прощался, у всех своих друзей.

В последний вечер, перед последней дорогой, он выпил с друзьями половину бутылки водки. Вторую половину они договорились допить после его возвращения.

Последние его слова на прощание:

– Как мне не хочется ехать!

"Виновных нет, поверь, виновных нет..."

2.

"В том мало смеху, что уходит шут.
Вас тоже в жизни перемены ждут".

Сначала они убили короля Лира.

Они убили в Минске короля Лира, и забота о театре перешла к королевскому шуту. А с ней и ощущение надвигающейся беды. А с ним – дневной и ночной ужасы.

Весь год шуту было страшно. Он чувствовал, что за ним следят. Он остерегался ходить вечерами по улицам. Он прекрасно знал, что король погиб не в автомобильной катастрофе. Он хорошо помнил его обнаженное тело, чистое, не поврежденное, со ссадиной на правом виске. Ему, шуту, было страшно: в театре, на улице, дома, под одеялом.

Ах, какой он был когда-то: легкий, подвижный – чудо! Какой он был в лучшие свои времена! Стройный, изящный, мягкий и человечный – море обаяния! Как он взлетал невесомо в танце с платочком! Как говорил, убежденно, взахлеб: "Свадьбы будут! И народ будет! И у нашего народа еще большие праздники будут!"

Это был добрый шут, мягкий и отзывчивый, беззлобный и обаятельный, который только на сцене притворялся злым. Он даже заикался в жизни, будто вечно стеснялся чего-то, и не его слабым плечам было вынести этот горб ужаса.

К концу года у шута развилась психическая бо-

лезнь. Навязчивая идея. Мания преследования. Когда за ним ходили двое, ему чудилось, что их – пятеро.

Весь долгий-предолгий год он ждал неминуемого ареста и медленно сходил с ума. Безысходные глаза. Конвульсивные движения. Землистый цвет лица.

Говорят, его вызывали куда-то. Запугивали. Предупреждали и запрещали. Не в силах справиться с тревогой, он приглашал близких друзей, кормил, поил, хотел, видно, выговориться, поделиться страхом, разложить на всех поровну. Друзья сидели допоздна, друзья ждали признания, но он молчал. Не мог сказать. Не решался. Они уходили домой грустные, встревоженные, в бесконечной к нему жалости, он оставался наедине со страхом.

Потом шут лег в больницу. К друзьям-врачам. В чистую и светлую палату. Страхи остались там, за воротами. А здесь – его лечили. Его лечили сном. Непрерывным, освежающим сном. Успокаивали расшатанные нервы.

В истории болезни записали: фамилия – Зускин, имя – Вениамин. Вениамин Зускин, шут-еврей.

Его увезли в тюрьму прямо из палаты. В сонном состоянии. Счастливого и беспомощного.

Кто знает, где он проснулся? В какой камере? За какими стенами? Что за свиные рыла склонились над ним?

Какой Гойя сумеет изобразить сладостные его сновидения и жуткую явь пробуждения?!

Какой Кафка опишет ужасы его смятенного, всколыхнувшегося ума?!

О нем не написали в газетах, не сказали по радио. Только актерам объяснили кратко, по тем временам популярно: "Враг народа".

Потом, в далеком будущем, назовут семье день его казни: 12 августа 1952 года. Потом, в далеком будущем, при открытии памятника на могиле Михоэлса, вдова одного расстрелянного скажет другой вдове: "А у нас с тобой даже камушка нет..."

Ни камушка, ни могилы... Вот он был, королев-

кий шут, — легкий, изящный — море обаяния! — и вот его и нет. И больше никогда не будет...

"В том мало смеху, что уходит шут..."

3.

"Вас тоже в жизни перемены ждут..."

Год начался, как небо обвалилось.

Год тысяча девятьсот сорок девятый...

Запестрели заголовки театральных статей: "Злопыхательства безродного космополита", "Клевета идеологического диверсанта", "Низкопоклонник и космополит!", "Расчистить дорогу!", "Покончить со всеми проявлениями!", "До конца разгромить и разоблачить группу антипатриотических театральных критиков!" (Это вам не Пекин времен хунвэйбинов. Это вам Москва – на двадцать лет раньше.)

Замелькали на страницах фамилии, едкие, острые, вызывающие всеобщее раздражение, чесотку, зуд на теле: Юзовский, Гурвич, Борщаговский, да Варшавский, Альтман, Янковский, да Березарк, да Шнейдерман с Бейлиным, Дрейден и Цимбал, да еще Алперс, Фрейдкина, Модель, Герцович, да туда же Бенде, Гальперин, Смолкин, Головчинер, и Мазель, и Шнеерсон, и Грубер, и Житомирский, и Бэлза, Шлифштейн и Вайнкоп... И отдельно еще Холодов. И не просто Холодов, а Холодов (Меерович). Чтобы не спутали при случае!

А в статьях содержание было откровенное, неприкрытое, только что бери кистень да выходи по команде на погром.

Кто же они, кто такие?!

"Эти критические проходимцы... Наиболее развязные и наглые представители... Злобный националист... Человек, глубоко чуждый нашей современности... Ослиные уши антипатриота и космополита... Как это

ничтожество ходило в ранге "талантливого" критика... Один из главарей разоблаченной ныне антипатриотической группы театральных критиков..."

Что же они делали, эти "проходимцы", эти "ничтожества"?

"Распространяли злобную клевету... Свободно орудовали... Шельмовали передовую советскую драматургию... Нагло оклеветали основоположника... Приглашал советского читателя довериться Расину... Поощрял деятельность литературных прощелыг... Прикрывался именем Дидро... Встретил улюлюканием и безграничной злобой... Лгал и клеветал на эту пьесу... Долго измывался над советским искусством... Калечил нашу молодежь, готовя себе смену... Стремился перенести все противоречия в так называемый "внутренний мир" человека... (Вам еще не надоело читать? А вы потерпите, потерпите чуточку. Вспомните те времена. А то мы забывчивы. Мы отходчивы. Что-то мы чересчур отходчивы, граждане!) Оболгал и испохабил... Бесстыдно утверждал... Занимался гнусной фальсификацией... Глумился над советской культурой, низводя всех наших деятелей искусства до положения ничтожных учеников культуры прошлого... Травил лучший наш театр... Оболгал, оклеветал, договорился до прямой реакционной клеветы на великий русский народ... Написал книгу, которую словчился потом дважды переиздать... Не имея возможности выступить открыто, встал на путь замалчивания успехов советской музыки... Расшифруем этот бандитский налет на нашу драматургию... Вот уж поистине предел злобы, клеветы и оголтелой диверсии...Можно составить полный список их злодеяний. Но и этого достаточно!"

Каковы же выводы из всего этого? Каковы указания?!

"Пора решительно покончить... Наглухо закрыть двери... Выкурить из всех щелей... (10 лет исправительно-трудовых лагерей). Разгромить безродных космополитов... Гнев народа — суровый и беспо-

падный... (15 лет). До конца разоблачить, уничтожить все очаги, искоренить враждебное влияние... (25 лет). Только гнев и презрение советских людей может быть уделом гурвичей, юзовских, борщаговских и иже с ними!..” (Высшая мера наказания!)

И что же потом?! Что стало потом? Тут же, сразу, почти мгновенно?

”Вы не можете представить себе, какой творческий подъем, насколько здоровая атмосфера создалась сейчас в театре... Коллектив ермоловцев стойко выдержал этот враждебный натиск диверсантов... Счастье наше, что нами руководит великий гений... Он вовремя указывает, каким образом мы должны разоблачать... Мы чувствуем, как распрямилась грудь, появилось горячее желание еще лучше работать!..”

Вот так! На этом мы пока остановимся. Все приведенные цитаты — из журнала ”Театр” №№ 1, 2 и 3 за 1949 год. А газеты! А радио! А другие журналы! Все они, вплоть до ”Коневодства”, выявляли своих Рабиновичей-Абрамовичей, накрывали пыльной попоной — и кулаками, ногами, директивными дубинами по голове...

А они жили среди нас, — без прав, без работы, без будущего, — жили в коммунальных квартирах, стояли в бесконечных очередях, ездили в переполненных трамваях, безуспешно устраивались на работу, воспитывали детей, прививали им чувство добра и справедливости, все эти юзовские-гурвичи-борщаговские, с клеймом на лице, со страхом в груди, с отметкой в паспорте...

А по ночам свистел-высвистывал за окном студеный ветер, по ночам шуршали шинами безобидные с виду фургоны, по ночам стучали в дверь наглыми кулаками, по ночам слепли от ужаса за прозрачными стенами, по ночам, по нескончаемым зимним ночам, за которыми не было рассвета...

”Кукушка воробью пробила темя...”

4.

"...за то, что он кормил ее все время".

А театр? Что же стало с еврейским театром во время всеобщего "творческого подъема"?

Они убили короля Лира, и его беспокойство перешло по наследству к шуту.

Они уволокли в преисподнюю королевского шута, и его страх достался театру.

Театр окутало удушающим облаком страха, томительного беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне.

По городу ходили слухи о сионистских заговорах за стенами театра, о подкопах, о складах оружия в его подвалах.

Евреи боялись ходить на спектакли. Евреи в тот год с опаской открывали газеты и торопливо закрывали окна. Евреи из солидарности покупали абонементы в театр, но спектакли шли в полупустых залах.

Уже были арестованы драматурги театра: Маркиш, Галкин и Бергельсон, Шнеер и Добрушин. Уже не было новых спектаклей, а только вялые репетиции безо всякой надежды на премьеру.

Им не назначали главного режиссера — незачем.

Им даже зарплату не платили весь год, только ничтожные авансы, на которые жили впроголодь.

Актеры уничтожали по ночам фотографии и письма, старые театральные программы с фамилиями Михозлса и Зускина, книги Маркиша и Галкина, Фефера и Квитко, роли из пьес опальных драматургов. Даже песенники рвали на всякий случай. Даже книги еврейских классиков. Сохраняли кое-что: через страх, через чудовищные колебания, в тревоге за свою судьбу. Это кое-что и было самое дорогое. Так определялись истинные ценности.

По вечерам они целовали детей, как на прощание.

Перед сном они клали у постели узелок с вещами. На всякий случай.

Это были уже не люди – тени. В вечном страхе. В постоянной тревоге. Которые каждый день ждали наступления ночи, каждую ночь – наступления утра.

Когда они смеялись на сцене – они смеялись через силу. Когда плакали – плакали по-настоящему.

И не всякий проходил честно бесчестное то время. Не всякий человек доверял всякому. Не всякий стоил доверия. Потому что все боялись каждого, и каждый боялся всех.

Когда время воет по-волчьи, нужно иметь мужество говорить по-человечьи.

Покойный Михоэлс образно называл свои роли: "Вениамин – подрезанные крылья", "Уриэль – изломанные руки". А театр? Как бы он назвал тогда свой ГОСЕТ при его точности формулировок?

Возьмем на себя такую смелость:

"ГОСЕТ – ПЕРЕБИТЫЙ ПОЗВОНОЧНИК..."

5.

"Коню, собаке, крысе можно жить,
Но не тебе, тебя навек не стало.
Навек, навек, навек, навек, навек!"

Играли "Фрейлехс".
Удивительный "Фрейлехс"!
"Свадебный карнавал в двух актах".
Спектакль-мемориал.
Траурная музыка в начале: чистая, строгая.
Семь свечей в темноте и одинокая звезда.
Лица, освещенные зыбким пламенем.
Неподвижные силуэты.
Скорбные глаза.
Обряд поминания.
Память о еврейских жертвах во все времена.
Неистощимая вера в будущее.

Это был веселый спектакль. С песнями. С плясками. Стремительно разворачивалась в танце счастливая свадьба!

Вся Труппа играла Фрейлехс!

"Мы соберем всю тоску в мире и сотворим из нее любовь!"

Уже актеры догадывались о закрытии театра. Уже отдергивался мрачный полог, за которым – мрак, ужас, бездонная пустота вселенского страха. Но спектакль шел. Труппа играла веселый карнавальный "Фрейлехс".

Горели поминальные свечи. Вздыхала невеста. Рыдала мать. Через силу острил неунывный свадебный бадхен. Стонали скрипки в оркестре. Актеры прощались с театром, друг с другом, с единственной своей профессией, ради которой стоило жить.

Шел последний спектакль Московского еврейского театра.

Спектакль-прощание. Спектакль-мемориал. Память о Михоэлсе, Зускине, Маркише, Бергельсоне, о друзьях-актерах, о самом себе.

"Выпьем за тех, кого нет! Выпьем за радости, которые будут!"

На сцене лихо отплясывали зажигательный танец "Фрейлехс".

"Гасите свечи, задуйте грусть!.."

В зале было пусто и жутковато.

Занавес закрывался медленно.

На этот раз – навсегда...

"Навек, навек, навек, навек, навек..."

6.

"Вам кажется, я плачу? Я не плачу..."

Потом они еще приходили в театр.

Висел на улице репертуар на следующий месяц,

подметали сцену уборщицы, следил за курящими пожарник, но касса уже не продавала билеты.

Актеры бродили по фойе, собирались малыми кучками, шептались, как на похоронах, пугливо жались по стенам. (На этих стенах висели когда-то панно Шагала. Во время борьбы с формализмом панно сняли, свернули в трубочки, увезли неизвестно куда. Кто их потом видел?)

Наконец, им объявили приказ о закрытии. "Идеологические ошибки, потеря зрителя, нерентабельность..."

В театр они входили еще актерами, из театра выходили уже зрителями.

Актрисы рыдали в гримуборных.

Костюмеры, прощаясь, оглаживали на плечиках театральные костюмы.

Гардеробщики и уборщицы сговаривались о переходе в другой, более удачливый театр.

Получили последние деньги, постояли последний раз на сцене, пошли по магазинам покупать детям новогодние подарки. Дети — они не должны тосковать. Дети — они должны радоваться.

Старый год закончился.

Начинался год новый, беспросветный тысяча девятьсот пятидесятый...

И запылал во дворе костер.

Пламя до небес!..

Чужие, равнодушные люди, грохоча сапогами, лениво, безо всякого удовольствия швыряли в огонь дорогие реликвии. Фото. Афиши. Книги. Рецензии. Макеты декораций. Летали по воздуху черные хлопья взамен традиционного подушечного пуха. Все остальное было, как на обычном, старорежимном погроме.

Все сгорело, обуглилось, осыпалось пеплом, было выметено на свалку. Сверху лег чистый январский снежок, стыдливо прикрыл грязные следы.

Мебель свезли в другие театры, костюмы — в особую прокатную организацию, которая обслуживает любителей. И где-то в студенческом клубе, в наско-

ро прихваченном нитками еврейском лапсердаке кто-то уже отчаянно отбивал каблуки под украинский гопак...

Так закрылся Московский ГОСЕТ – государственный еврейский театр.

Без некролога и траурной музыки. Без почетного караула и доброго слова вослед.

А за ним тихо, по одному, огоньками в непроглядной ночи гасли по стране еврейские театры. А было их до того много:

Минский еврейский театр,
Киевский еврейский театр,
Одесский,
Крымский,
Харьковский,
Житомирский разъездной,
Биробиджанский,
Бакинский,
Ташкентский...

И в каждом – актеры. В каждом – режиссеры. Школы, традиции, свой зритель.

Да еще любительских театров было – не счесть!

Было – и не стало...

"Вам кажется, я плачу? Я не плачу.
Я вправе плакать, но на сто частей
Порвется сердце прежде, чем посмею
Я плакать. – Шут мой, я схожу с ума!"

7.

"Как больно бьется сердце! Тише, тише!"

И разбрелись актеры кто куда.

Кто как сумел, кому где повезло.

Единицы попали в русские театры. Считанные единицы!

Остальных трудоустроили в театральные мастерские.

Герои-любовники научились разрисовывать шелковые косынки.

Характерные старухи приспособились мастерить искусственные цветы и перья на шляпки.

Простаки и злодеи, комики и резонеры наловчились клеить конверты: тысячи за день.

Кто — шпильки, кто — воротнички: труппа еврейского театра почти в полном составе отбывала бессрочное наказание. Тупая, грошовая работа. Грубо надорванные жизни. Они слепли на бесчисленных конвертах, задыхались от едких химических красок. Уходили силы, тускнело дарование, безнадежность накидывала сетки морщин на лица без грима.

А кто-то безуспешно толкался у ворот киностудий, искательно заглядывал в режиссерские лица, чтобы мелькнуть потом в кадре, в бессловесной массовке: копейки за съемочный день. "Ура!" — это он в цепи красногвардейцев. "Долой!" — это он в толпе меньшевиков. "Да здравствует!" — и опять это он.

Они собирались, порой, вместе, бывшие актеры бывшего театра, и вспоминали прошлые времена. Говорили и вздыхали. Молчали и плакали. И одни из них делали крюк, чтобы пройти лишний раз мимо здания театра. Другие делали крюк, чтобы обойти его стороной.

А время впереди предстояло прожить гнусное, страшнее страшного: года пятидесятый, пятьдесят первый, инфарктный пятьдесят второй... Когда арестовали врачей-убийц, когда упорно шептались о бесконечных бараках в Биробиджане, куда будут переселять теплушечными эшелонами, когда по ночам боялись ложиться спать, лихорадочно уничтожали еще неуничтоженные "улики".

Уже сослали в Сибирь жен и детей Зускина и Маркиша, Фефера, Квитко и Бергельсона. Остальные, пока несосланные, жили в пустоте. И никто не хотел

с ними общаться, с семьями опальных. Гости к ним не ходили, телефоны у них не звонили, знакомые на улицах шарахались, как от зачумленных. И если друг приходил в осиротевшую семью, к жене и детям, на день рождения сгинувшего в лагерях товарища, это был настоящий друг.

А в газетах разгул был черносотенный. А журналы захлебывались от злости. А репродукторы на стенах, как собаки бешеные, разве что не кусались...

И опять: кто же они, кто такие?!

"Врачи-убийцы... Изверги человеческого рода... Банда врагов народа... Участники гнусной шайки людоедов... Наемные убийцы, скрывающиеся под личиной профессоров медицины... Подлые отравители, продавшие душу и тело международному империализму..."

Что же они натворили на этот раз, что?!

"Неописуемо чудовищны преступления... Были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт"... Давнишние агенты английской разведки... Ставили своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза... Старались подорвать здоровье и вывести из строя... Установлением пагубного режима и неправильным применением сильнодействующих лекарственных средств довели до смерти... Жертвами этой банды пали товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков..."

И наконец, выводы и заключения, задолго до суда, до разбирательства, отголоском неизбежных и беспощадных приговоров:

"Гнев и омерзение честных людей... Сокрушительный удар!.. Священный долг... Происки поджигателей... Ликвидировать вредительство... Покончить с ротозейством и благодушием... Бдительность и еще раз бдительность!"

Все цитаты взяты из одной статьи одного лишь журнала ("Огонек", 25 января 1953 года). А сколько их было таких — не сосчитать! А сколько гово-

рено на собраниях – не перечислить! А сколько косых взглядов на работе, реплик в трамвае, скандалов в общих квартирах – попробуй проверь!

И не было уже еврейской речи на сцене, еврейских песен по радио, еврейских танцев на эстраде. Будто исчезли евреи за одну ночь, вымерли, вымерзли, волшебным способом превратились в нееврев.

И затихло все, замерло, затаилось до лучших времен...

"Потухла свечка..."

8.

"...вот мы и в потемках..."

Прошло с той поры двадцать с лишним лет.

Вроде, посвежело со временем, потеплело и посветлело, а с этим делом – никак. Школ нет. Газет нет. Культуры своей тоже нет. А есть один лишь журнал на "идиш", который никто теперь не читает, да и читать не может.

Года с шестьдесят второго объявился скромный разъездной ансамбль на пяток актеров, что ездил по окраинным клубам да играл фрагменты из старых спектаклей. И ходили к ним старики, ходили люди за сорок, а молодежь почти не ходила – безъязыкая.

За две последние переписи, с интервалом в десяток лет, число евреев в стране не прибавилось. Было два миллиона с небольшим, да так и осталось. Будто не рожали матери, не росли дети, не женились молодые...

А ведь и рожали, и росли, и свадьбы справляли, как все, да писались многие и до сей поры пишутся русскими, украинцами, белоруссами, казахами, кара-калпаками – кем хочешь, только не евреями. Одни – от смешанных браков, другие – просто ловчат.

Там, у них, в других нациях, вроде, поспокойнее. Там, у них, перспективнее.

Что же мы так бежим от еврейства, граждане евреи? Тысячелетиями сманивали предков наших, прельщали и грозили, соблазняли и сжигали, а они держались и упорствовали, устояли и выжили. Что же теперь, евреи? Ведь не сжигают, вроде! Ради чего, скажите, ну, ради чего?!

Неужто за лишний кусок?

Да, за лишний кусок. За лучший институт. За карьеру по службе. За спокойную жизнь и почти безбоязненный вход в любой отдел кадров.

И если в России перед крещеным евреем открывались когда-то все двери, то не спасет его теперь никакая религия. Перейди хоть в магометанство, хоть в баптисты, стань дырником или трясуном – по паспорту ты еврей и евреем останешься. Пятый пункт. Неумолимый пятый пункт!

Потому и выкручиваются с паспортом, как могут. Потому и пишутся, как получится. И если раньше религия отцов держала в гордой неволе их детей, нет теперь религии и запрета тоже нет.

Познакомьтесь:

Владимир Израилевич Рабинович – русский.

Семен Маркович Раппопорт – молдаванин.

Илья Соломонович Лившиц – узбек.

Да еще отсутствие культуры своей, школ своих, родной речи – очень способствует ассимиляции. Историю свою не знаем. Героев своих не помним. Не слыхали о могуществе и унижениях, о взлетах и падениях народа своего, чтобы на примере предков не совершать новые ошибки, за которые уже пришлось расплачиваться предыдущим поколениям.

Темные мы, евреи, нелюбопытные, безразличные к прошлому своему, не осмыслившие настоящее, равнодушные к будущему...

И число знающих родной язык – 17 процентов по переписи!

Ниже ни у кого нет, ни у одной национальности.

Ниже уж и некуда...

Сколько стран на свете имеют не больше населения, – Албания, Иордания, Лаос, Монголия, Либерия, Ливия, Мавритания, Панама, Никарагуа, Парагвай, – а культура своя, и язык свой, и школы, и книги-газеты с журналами...

А тут на два миллиона с лишком – тихий разъездной ансамбль да, порой, пара скромных певиц.

Да и на это не очень-то уж и ходят.

Отвыкли...

"Из ничего не выйдет ничего".

9.

И вот!..

И вдруг!!..

Через годы годов!!!..

– Вы слыхали? Нет, вы слыхали про это? Евреи, вы слыхали или как?!

– Слыхали, конечно, слыхали. А про что?

– Как про что? Как про что?.. Еврейский ансамбль играет "Заколдованного портного"!

– И что из этого?

– Из этого? Ну знаете... Вы когда последний раз были в еврейском театре?

– Я? В последний раз я в него не попал.

– Не было уже билетов?

– Не было уже театра.

– Ну, вот! Что же вы стоите? Бегите скорей! Смотрите скорей! А то...

– Что "то"?

– Я знаю?! Могут закрыть.

– Там есть за что закрывать?

– Ничего там нету. Но кому это помогало?

– Тоже верно. А где они играют?

– Где они играют? Куда их пустят, там они и играют. Вчера – в клубе, сегодня – в концертном зале.

— В концертном зале? Первый раз слышу. А что там постоянно, в этом зале?

— Постоянно там выступает театр. Цыганский театр.

— Цыгане — постоянно?

— Ну, да. Постоянно там — цыгане.

— Дожили! Цыгане постоянно, а евреи — кочуют...

10.

"Избрал ты нас — и обрек ты нас на жизнь в Злодеевке, в тесноте и в духоте. И дал нам — и отпустил же ты нам, Господи, горестей и болячек, нищеты и лихоманки — по милости твоей великой — ой-ой-ой..."

Шолом-Алейхем,
"Заколдованный портной"

Публика появляется рано. За час, за полтора до начала.

Первыми приходят самые пугливые.

Самые пугливые — самые нетерпеливые.

Гуляют по улице парами, мимо подъезда проходят деловито, не глядя, будто оказались здесь случайно, сходятся-расходятся, косятся по сторонам, чтобы все высмотреть-выглядеть, а при случае — удрать вовремя. Но тихо вокруг, спокойно, не опасно, вроде, и смелеют пугливые, и оглядывают друг друга, как после долгого перерыва, после тяжелой болезни, и разговаривают глазами:

— Вы живы?

— Мы живы.

— А вы?

— И мы живы.

— И мы, и мы!..

— Живы, евреи, живы!!!

Потом открываются двери, и зрители торопливо

проскальзывают внутрь, в помещение, подальше от любопытствующих посторонних взглядов. По фойе ходят чинно, по кругу, ужасаются молча и привычно:

– Сколько евреев! Ах, сколько евреев в одном месте! А это можно? Это разрешается? Погладят за это по головке или не погладят?..

Звенит первый звонок, и все усаживаются на места, и поджимают локти, и поджимают губы, и косятся на случайных соседей по сторонам:

– Это еще что за тип?

– Черненький...

– Носатый...

– Плешивый...

– Бородатый...

– Ну и зал! Ну и зритель! Ну и народ!!

Сбежать бы, пока не поздно...

Но поздно! Уже поздно...

11.

"...без пальца и кукиша не покажешь..."

Выходит на сцену Шимен-Эле, портной из Злодеевки: "заплатных дел мастер", "гол да весел", "чем беднее, тем веселее, чем голоднее, тем песня звонче".

Выходит следом его жена, Ципе-Бейле-Рейза: "казак-баба!"

Выходит Додя, шинкарь, которому нехватает "разве что головной боли".

Выходит Хаим-Хоне Разумник: учитель, "большой дурак".

Выходит его жена, Теме-Гитл Молчальница: "слов-девять коробов".

Выходит коза, козочка-коза, певунья, каких свет не видывал. "Шутка ли, коза!... Даже в талмуде сказано: "Каждому еврею положена своя доля..." — то-есть каждый еврей должен иметь козу"...

И вот уже начинается спектакль. Грустный и ве-

веселый, реальный и фантастический. О местечках Злодеевке и Козодоевке, о портном-неудачнике, о козе-оборотне, которая где угодно коза, а у нашего бедняка — не коза, а козел. Играется, может быть, самая печальная история, рассказанная Шолом-Алейхемом, о призрачном еврейском счастье, которое не давалось в руки, о мечтах, которые не сбывались, о горе, которое вечно бродило рядом, выискивало себе очередную жертву и наткнулось, наконец, на бедолагу-портного и его семью.

"Ох, горе, горе тебе, Ципе-Бейле-Рейза!"

Идет премьерный спектакль. "Заколдованный портной" в заколдованном театре.

Будто злой колдун превратил актеров в преждевременных стариков. Глаза горят, а ноги не слушаются. Песня рвется из груди, а дыхания нехватает. Задыхаются, утираются платками, но все равно играют. Весело. Отчаянно. Играют старики! Играют те, кто остался от некогда знаменитого Московского государственного еврейского театра.

"За что причинил ты зло народу сему?"

Играют старики. Дедушки и бабушки. Больные и усталые. Напуганные еще теми временами, замороженные еще тем страхом, не отогревшиеся за эти десятилетия. Кому к шестидесяти, а кому и под семьдесят. Жадные на роли, на спектакли, на репетиции. Они не могут больше ждать. У них нет лишнего времени. Песочные часы жизни дважды не перевернешь.

Они не доиграли свое, они не доплясали, не растратили силы свои на сцене. Им, актерам, недоплатили в жизни цветов и аплодисментов, гастролей и хвалебных статей.

И выбегают они, старые, на вызовы, выбегают, задыхаясь, еще и еще, и пьют жадными, торопливыми глотками горячий воздух успеха, пьют и никак не могут напиться, и неохотно уходят домой, ждут — не дождутся нового спектакля.

"Начав падать, не остановишься..."

12

"Не смотри в стакан, а смотри в бутылку..."

Играют старики.
Идет спектакль.
Веселый. Красочный. С песнями-плясками.
Спектакль — чудо. Спектакль — вызов времени. Спектакль — цветком из-под тяжеленной каменной глыбы.

А зрители? Что же случилось со зрителями?

Поначалу робкие, поначалу настороженные, будто ожидающие начальственного окрика: "Как посмели? Кто разрешил? Прекратить безобразие!"

Поначалу недоверчивые, поначалу заторможенные, для лояльности понавесившие на пиджаки орденские планки, будто собравшиеся в запретном месте на запретное зрелище.

Кто знает, чем это кончится?!...

Но вот музыканты ударили по струнам, заиграли знакомое, радостное, неунывное, давно не слышанное, давно, вроде, позабытое, но ощущаемое всегда, внутри себя, внутри каждого, бережно сберегаемое от чужих рук. И пошел по сцене, пританцовывая, бедолага-портной Шимен-Эле, и взорвался зал аплодисментами.

Кривитесь, завзятые театралы! Сравнивайте, знатоки! Вспоминайте лучшие спектакли лучших времен! Мы, нынешние, ничего не видели. Нам, теперешним, откровение это, изумление и восторг!

И вздрогнули от первых тактов черненькие. И запрыгали носатые. Зашумели плешивые. Захлопали в ладони бородатые...

Объединился зал!

Редкое ощущение. Мало испытанное. Можно сказать, почти ни разу за всю нашу жизнь. Видно, не зря страдали актеры. Не зря мучались. Не зря тратят теперь щедро, без остатка, малые силы свои.

И заулыбались зрители, и соприкоснулись локтя-

ми со случайными соседями, и с удовольствием оглядели зашумевшие ряды. Какие же мы все симпатичные: и черненькие, и носатые! Какие родственно одинаковые: и бородатые, и плешивые!

Одно слово — евреи!

13.

Одинаковые?!

Совсем мы не одинаковые.

Сегодня мы разобщены, раздроблены, разодраны противоречиями. Сегодня мы не согласны друг с другом. Больше того: мы не согласны сами с собой...

Вот со скрипом приоткрылись, казалось, навек закрытые двери, и злой, продувной сквозняк просвистел над ухом кондукторским свистком, вызвал раздражение, нетерпение и озноб. Одним на радость, другим на горе, третьим на вечное нерешительное раздвоение. И кому-то уже неуютно, непривычно на свежем воздухе после усыпляющей духоты закрытого помещения. И кому-то уже нехватает этой малой порции, чтобы вздохнуть полной грудью через широко распахнутую дверь.

Евреи всегда были максималистами.

Но вот мы уже вылезаем поодиночке через неширокую щель, кое-как, с ободранными боками, малыми, регулируемыми порциями, и зашевелилось еврейство, заволновалось и забеспокоилось, проснулась в нем доселе дремавшая, никогда не умиравшая тяга вечных странников в их нескончаемом возвращении на Родину.

Этого беспокойства хватит теперь надолго. Этим волнениям не утихнуть и после нас. Еще больше задумаются одни. Еще сильнее станут ловчить другие. В нынешних обстоятельствах тень наброшена и на них. Тень наброшена на самых правоверных.

И потому, кто выступает сегодня на собраниях?

Евреи.

Кто клеймит отъезжающих?

Тоже евреи.

В первую очередь. Раньше всех. И всех убедительнее.

Евреи всегда были максималистами...

Вроде бы, и время другое, и нравы нынче не те, и факты не столь страшные, и средства информации задевают лишь косвенно, ненароком, а приглядеться: все по-старому. Только спрятано, завуалировано, одето в крахмальную рубашку с галстуком.

Вот вам пример.

Интеллигенция. Научные работники. Начальники отделов. Кандидаты наук. Члены научно-технического совета крупного исследовательского института.

Вот они обсуждают своего сотрудника. Тоже интеллигента. Тоже кандидата. За его желание выехать в Израиль.

Вот вам документальная запись:

"Он говорит нам о том, что есть тринадцатый пункт конвенции о праве человека выехать из страны. Да, есть такое право, но мы понимаем его как лозунг, как идею, но не как практический шаг. Право уехать, может быть, и есть, но всякий, кто им воспользуется, — реакционер. Куда бы он ни поехал, даже в социалистическую страну, тем более в капиталистическую..."

"Он решил переехать в страну, которая является по своей идеологии фашистской, а по своей политической платформе — захватническим государством..."

"Он не может участвовать в нашей науке именно из-за того, что изменил нашим принципам..."

"Он зачеркнул родину и еще спорит с нами, соответствует ли должности старшего научного сотрудника..."

"Выражаю политическое недоверие и считаю, что по своим моральным качествам он не может быть советским гражданином..."

"Предлагаю освободить от должности старшего научного сотрудника, так как он изменил нашему государственному строю!.."

Выкрики с мест: "Предатель! Изменник! Отщепенец!..."

Постановление научно-технического совета: освободить от занимаемой должности!

И освободили! Поперек всяких правил. И удовлетворенные разошлись по домам, посеяв малую толику беззакония.

Но каждый посев дает свои всходы.

И каждое беззаконие порождает желание сотворить новое, похлеще прежнего.

И нам, с нашей российской историей и с нашими неисчислимыми жертвами грех это забывать...

14.

"Нищий подобен покойнику" – что означает: если нечего жрать, ложись спать..."

А спектакль идет...

Идет "Заколдованный портной" в заколдованном еврейском театре.

И на гастроли они ездят. И репетиции проводят.

И опять колдовство. Опять – злые чудеса. Будто опекает кто-то этот театр, неусыпно следит бдительным директивным оком.

Афиш почти нет. Играть не дают. Месяцами нет спектаклей. Ленинград, Киев, Минск для них закрыты. Другие города принимают неохотно. Зачем им нужен этот ансамбль, эти евреи, эти лишние хлопоты? Но зато их охотно посылают в города, где нет почти евреев. И бывает, порой: приезжают на гастроли,

живут в гостинице, а спектаклей нет. Проданные билеты возвращаются в кассу. Когда они жалуются, им говорят: "Получаете зарплату? Ну и сидите себе тихо..." Такое ощущение, будто держат этот театр, чтобы похвастаться при случае. И снова, как когда-то, всплывает на поверхность жуткое слово: "нерентабельность"...

Колдовство. Несомненное колдовство...

А что же дальше?

Что будет дальше?

Театру нужны актеры. Где их взять?

Есть еще старики, в Минске, Кишиневе, Вильнюсе, бывшие артисты бывших еврейских театров, а молодых нет нигде.

Приходят старики на спектакли и охают, и вздыхают, и от горестных воспоминаний лижут валидол. А другие не приходят. Не хотят. Не могут. Только соль на раны! Эти, другие, проработали в театральных мастерских до пенсии, до наших уже дней. Какой заряд неудовлетворенности накоплен на косынках да на конвертах, на шпильках да на искусственных цветах!

А третьи тоже не приходят, потому что испугались когда-то на всю свою жизнь. Третьи не хотят иметь ничего общего ни с театром, ни с евреями. И уже поспокойнее, вроде, потише и помягче, а страх остается, страх прилипчив, страху хватит не на одно поколение.

Так где же взять молодых?

Театральное еврейское училище закрыли когда-то вместе с театром. Язык мало кто знает. И возможности потому – сомнительные. И перспектива – мрачная.

Через десять лет эти же самые старики будут выходить на сцену – других нет.

Через двадцать лет не останется никого.

Можно создать театр одного актера. Но театр без актера создать нельзя.

И без зрителей, кстати, тоже... Кто через двадцать лет будет знать язык?

"Не поевши, не спляшешь..."

А спектакль уже подходит к концу.

Актеры выбегают на аплодисменты, кланяются, прижимают к груди запоздавшие на двадцать пять лет цветы.

Они счастливы, актеры. Они несчастны.

За ними закрывается занавес русского еврейского театра.

Закрывается навсегда. На память многим...

Но кто это там поет-заливается? Кто там печалит и веселит наши сердца грустными и радостными напевами?

Девочка-козочка, козочка-девочка, откроешь ли ты в будущем свой занавес?

Где?

Когда?

И выходит из зала старенький еврей в ермолке, скрюченный, сморщенный, со слуховым аппаратом, и влезает, кряхтя, по лесенке на сцену, и дарит козочке, девочке-козочке, голоногой певуньс, детскую шоколадку за двадцать четыре копейки...

"Аз недостойный..."

"Да возрадуются и возвеселятся..."

"Не надо мне ваших почестей, и не хочу я оплеух!..."

15.

"Ныне день великого суда..." — только не тужить!"

После спектакля зрители не расходятся.

Стоят на улице плотной толпой, окликают друг друга, возбужденно переговариваются.

И никто уже не оглядывается по сторонам, никто

не обращает внимания на косые, посторонние взгляды.

"Не обращайте слуха вашего к речам недостойных! Да будут заткнуты уста, низвергающие ложь! Мир да будет вам, мир всем евреям отныне и во веки веков!"

Потом зрители уходят, – не сразу и не быстро, – а из подъезда появляются актеры. И тоже стоят на улице, по двое да по трое, не расходятся, продлевают редкое, давно не испытанное чувство успеха, радости, усталого удовлетворения.

А потом и они идут, тихо, неохотно, перекликаясь друг с другом на опустевшей улице.

"Идите подобру-поздорову, и будьте здоровы, и пользуйтесь на здоровье, и дай Бог, чтоб она была такою же, как до сих пор, не хуже, – а хорошему конца-краю нет!"

А рядом – ресторан.

А в ресторане – оркестр.

А на улицу окна – в два этажа.

И через приоткрытые окна рвется на все окрестности веселый и задорный "Фрейлехс"!

Зал распирает от звуков.

Зал содрогается от топота.

Отплясывают командировочные.

Выкаблучивают загульные москвичи.

Кто из них знает, что это за музыка? Кто знает, откуда она взялась?

Никто не знает.

Да и не желают знать...

Оркестр играет "Фрейлехс"!

Им, в ресторане, весело! Они танцуют! Они смеются!!

Может, и мы посмеемся, читатель?

"Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться..."

Страница вторая

ЧТО-ТО, ВИДНО, СТРОНУЛОСЬ С МЕСТА...

— Не знаю, что во мне осталось еврейского. Разве только в паспорте графа — "национальность"...

— У меня осталось одно воспоминание, что бывает пасхальный борщ...

— Я помню с детства мацу с ложечкой красного хрена...

— Еще я помню волчок на Пурим...

— В доме ничего не было еврейского, абсолютно! Праздники у нас не справлялись, национальной кухни тоже не было...

— Лично мне хотелось стать таким, как все. Вокруг меня были алтайские ребята, сыновья шахтеров, и мне хотелось стать такими, как они. Пить водку, как они. Ходить на лыжах, как они. Драться. Ругаться. Но моя генетика вылезала, и они чувствовали, что я другой. Всегда оставалась грань, через которую не перейти. Я хотел, но я не мог...

— С тех пор, как я себя помню, я всегда ощущала себя еврейкой. И даже если бы мне вздумалось вдруг забыть об этом, они бы не дали...

— В ЗАГСе им сказали: "Это очень странное имя. Зачем так называть ребенка? Вы еще пожалеете. Идите и подумайте". Но они настояли и записали ее — Юдифь...

1.

Представим себе для начала, что приехал в Москву иностранный турист.

Приехал в Москву иностранный турист, который все хочет увидеть, все хочет сфотографировать, увезти с собой на память.

Много таких туристов бегают по московским улицам, особенно в летние месяцы, особенно в центре города, уткнувшись носами в путеводители, – очень много!

И вот он садится, этот иностранный турист, в московское такси, и просит водителя отвезти его в синагогу: такое у него желание в этот момент, у туриста, такая у него прихоть.

– В синагогу, – говорит он. – Хочу в синагогу.

А шофер удивляется. Шофер не знает. Шофер никогда туда не ездил. Все знает московский таксист, ловкий и пронырливый, – где ресторан, где вокзал, – а про синагогу не слыхал. А может, и слыхал, да не велено таксистам возить туда иностранцев.

– Где синагога? – безуспешно спрашивает иностранный турист, привыкший там, у себя на Западе, удовлетворять любую свою прихоть. – Где синагога? Где?!

А где – неизвестно. Все сфотографировал на память, все достопримечательности, в одну лишь синагогу не попал...

Представим себе теперь, что приехал в Москву еврей из провинции.

Приехал в Москву еврей из провинции, и помчался по столичным магазинам, и закрутился по стандартному кольцу ГУМ-ЦУМ-Детский Мир, но остановился, вдруг, на полдороге по неизвестной причи-

не..., и вот уже шарит он глазами по густой толпе, и выдергивает безошибочно родственное ему лицо, и спрашивает шепотом у еврея-прохожего:

– Где тут у вас синагога? Где?

А прохожий удивляется. Прохожий не знает. Еврей-прохожий затрудняется с ответом. Все знает московский еврей, – где ресторан, где вокзал, – а в синагоге никогда не бывал. А может, и бывал, да боязно первому попавшемуся сообщить адрес. Разные они бывают, первые попавшиеся. Разные потом случаются истории.

– Где синагога? – безуспешно спрашивает провинциал. – Где?!

И уезжает назад, так и не повидав, так и не вырвавшись из заколдованного круга ГУМ-ЦУМ-Детский Мир. Уезжает в свой город, где их собственные синагоги давно уже переделаны в клубы, кинотеатры или какой-нибудь там Госстрах.

А действительно, где же московские синагоги? Кто побывал в них? Когда? Сколько раз за жизнь? Может, нету их вообще в столичном граде?

Может, полно их, чуть не за каждым углом, а мы просто того не знаем?...

2.

Я знаю эту московскую синагогу очень давно, наверно, всю мою жизнь...

С раннего детства она зацепилась в моей памяти, – нечто таинственное и малопонятное, – как зацепился с детства в памяти язык идиш, на котором часто говорили родители, зацепились еврейские мелодии со старых, затертых пластинок, зацепилось воспоминание о никогда не виданном дедушке, который был человек религиозный и каждый день ходил – куда? – в синагогу.

А может, это зацепилось не в памяти. Может, это сидит в наших генах...

Еще до революции, совсем незадолго до нее, жил в Москве, на Мясницкой улице, именитый художник Абрам Архипов. Жил себе и жил, и картины писал, и на выставках появлялся, и награды получал: не очень шумный, не очень модный, хотя и уважаемый художник, в чинах и званиях. Архипов Абрам Ефимович. Статский советник. Академик живописи. Преподаватель училища живописи, ваяния и зодчества...

Так вот, жил себе художник Абрам Архипов в Москве, на Мясницкой улице, а потом умер, и память о нем осталась бы, наверно, только в специальных книгах, да в табличках под его картинами в разных музеях, но тут, вдруг, решила советская власть увековечить его имя и переименовала Спасо-Глинищевский Большой переулок в улицу Абрама Архипова, и с этого момента началась вторая жизнь его имени. Потому что это название – улица Архипова – вот уже несколько десятилетий не сходит со страниц газет и журналов всего мира, звучит по радио и с экранов телевизоров, коверкается дикторами разных национальностей, фигурирует в протоколах допросов и в донесениях тайных и явных агентов. Так русский художник Абрам Архипов вошел в историю, – вернее, не вошел, а был втянут, – в историю российского еврейства.

Здравствуй, улица Архипова!

Здравствуй улица, засевшая глубоко в памяти, незабываемая, невытравляемая, ощутимая навечно каждым зданием своим, каждым двором и каждым подъездом.

Здравствуй улица преодоления страха, пробуждения гордости, силы, веры, общности и традиций.

Внешне ничем не примечательная, одна из многих московских улиц, без уникальных строений, без удивительных памятников, вздыбившаяся крутой горой для общего неудобства – и пешеходов, и водителей.

Но стоит на ней дом, стоит здание с колоннами – московская синагога, и это меняет дело, это все меняет...

Я начал ходить в московскую синагогу в осенние праздники Симхат-Тора.

Мы собирались обычно где-нибудь в центре и шли группой, по двое, по трое, а неподалеку шла еще группа, еще и еще — студенты, школьники старших классов, юноши и девушки.

Приличная толпа стояла перед синагогой на улице Архипова, нашпигованная дружинниками и переодетой милицией. Было тогда страшновато, было неуютно, потому что цеплялись часто к молодым, прихватывали в милицейские машины, увозили в отделения, а потом сообщали на работу, сообщали в институты. И никто теперь уже не знает, сколько евреев пострадало за те праздники, сколько ребят вылетело из институтов.

Веселый праздник Симхат-Тора!
Кому весело, а кому и не очень...

Потом я приходил сюда послушать заезжих канторов. Тоже на праздники. Они приезжали из Одессы или из Черновиц: теперь уже не помню точно. И сидели евреи в талесах, и слушали евреи, и подпевали тихонько евреи, и переглядывались, и перемигивались, и цокали в восхищении языками, когда брал кантор заветную ноту, и обсуждали, и сравнивали, знатоками поджимая губы.

А в синагоге сидели тогда одни старики, молились старики, исчезали по одному старики, и было ощущение, что еще лет десять, от силы — пятнадцать, и некому будет приходить сюда, на улицу Архипова, некому петь и некому слушать.

Старела московская синагога, дряхлела, доживала годы свои случайной приживалкой среди чужих и равнодушных.

Вот-вот — и конец.
Вот-вот...

3.

Для чего мы все время вспоминаем?

Вспоминаем, и вспоминаем, и вспоминаем...

Для чего запоминаем, помним, записываем?

Кто нас услышит, кто задумается, кто поймет?...

Или это долг наш – передавать свой опыт следующим? Или – надоедливая привычка, от дурного воспитания, вроде той, когда останавливают человека на улице, крутят ему пуговицу и заставляют выслушивать то, чего он не хочет знать?...

Я жил когда-то в Москве, в самом ее центре – на бульварах.

Я часто ходил через переулки, мимо Патриарших прудов, на Садовое кольцо.

Стояли на моем пути два дома, почти рядышком, обломками растоптанной еврейской истории. Но мало кто знал об этом в торопливой толпе, мало кто догадывался.

Первый дом: теперешний театр на Малой Бронной, – здание бывшего еврейского театра. Второй дом, за углом, каких-то сто шагов: теперешний дом народного творчества, – бывшее здание синагоги.

Я бывал в этом здании, в доме народного творчества, бывал в его концертном зале, не догадываясь даже, что молились тут когда-то евреи, плакали евреи, носили по залу свиток Торы, а теперь танцуют тут украинский гопак, читают стихи о советском паспорте, поют под гитару через усилитель.

Сколько таких мест по Москве, связанных с нашей историей, сколько таких мест, неизвестных мне, неизвестных уже никому!

А по другим городам – сколько?...

Мы, российские евреи, слишком уж много отдали на откуп официальным историкам, что извратили, опошлили, фальсифицировали историю нашу. Оглянись! – история наша будто дорога, что выходит из дремучего леса фактов, через прореженную опушку, промеж случайно натыканных ложных посадок из

папье-маше, чтобы затеряться невидной тропкой посреди старательно перепаханной земли. А они все работают и работают: искусные лесники, рубщики фактов, специалисты по ложным посадкам... Что мы теперь знаем о прошлых десятилетиях? Практически, ничего. Что мы хотим узнать? Хоть что-нибудь. Хоть какие-то крохи... Сегодня мы не узнаем дедов наших. Завтра наши внуки не узнают нас.

Мы, российские евреи, все отдаем прожорливому времени, все почти уж отдали: историю свою, предков своих, общую память. С чем же мы останемся? С кем останемся?...

Как голые, посреди голого поля, в окружении безжалостного зверья...

Слезы и молитвы поколений имеют право на память, на уважение, на благодарность в нашей необремененной обязательствами жизни.

Нам нечего ждать, что кто-то позаботится о нас, повесит на зданиях наши мемориальные доски, издаст за нас наши книги с журналами, сохранит нашу историю и передаст ее нашим потомкам, – нет, этого мы не дождемся.

Что же тогда остается?

А остается нам одно.

Спросим отцов своих, спросим еще живых дедов своих: с ними уходит наша память, память российского еврейства, наше прошлое, наша связь с поколениями, наша теперешняя связь друг с другом. Спросим отцов своих. Сохраним малые крохи. Передадим дальше, детям и внукам.

Пусть каждый расскажет, что помнит. Пусть каждый сбережет, что сможет. Пусть хотя бы назовет детям имена дедов своих и прадедов: мы и того не знаем. Мы ничего не знаем. И начать надо с малого. Главное в этом деле – начать! Поторопиться! Уцепиться за факт, за нерв сегодняшний! Пусть потом придут старательные, дотошные, архивно-музейные, что осмыслят и объяснят, не спеша, – пусть!

Мы, евреи, небольшой народ в этом мире. Нам –

держаться сообща, помогать, облегчать, советовать. И история наша, традиции – единственное, что спаяет, что способно спаять.

А без этого: голые, посреди голого поля, в окружении прожорливого зверья...

4.

И вот теперь, сейчас, еженедельно, каждую субботу сходятся евреи к московской синагоге: в любую погоду, в любое время года, всегда.

В Москве, на улице Архипова, совсем рядышком с самыми главными государственными и партийными учреждениями стоят по субботам толпы евреев и спорят, и беседуют, и сватают, и знакомят, и просят помощи, и решают в который уж раз кардинальный вопрос века: ехать или не ехать?

– Что тут такое? – спросит случайный прохожий.

– Бейт-кнесет.

– Что, что?

– Синагога, вот что. Си-на-го-га...

И покачают головами одни. И поспешно уйдут другие. И пробурчат что-то третьи, малолестное, а то и нецензурное. А четвертые, остановившись, долго будут глядеть с изумлением на здание с колоннами, на толпу вокруг, будто удивительнее зрелища и не видывали: евреи у синагоги...

Тихо здесь в будние дни. Тихо и пустынно...

В будние дни тихонько пройдут поутру старики-евреи, шаркая подошвами, кашляя и задыхаясь, спустятся сверху, с Маросейки, или с трудом взберутся снизу, с Солянки, – и опять пустынно, и транспорта немного, только пробежит мимо шустрый корреспондент из "Советского спорта", чье здание рядом, вплотную к синагоге, да выедет машина из гаража напротив, да встанет столбом случайный зевака на узком тротуаре, с удивлением разглядывая незнако-

мые письмена над входом: что это? откуда это? персидское, египетское или, может, бушменское?...

А то еще подъедет одинокий катафалк, и внесут внутрь гроб, и войдут плачущие родственники, а через малое время и они уедут, тихо, медленно, почти шагом, а старики из синагоги пойдут следом, до поворота, провожая раз за разом, одного за другим...

Так здесь в будние дни. В обычные дни. В дни непраздничные. Даже агентам нечего делать тут. Даже милиции...

Но вот приходит день, особый день, издавна ожидаемый, и заранее уже сговариваются евреи, созваниваются, отменяют на этот вечер всякие кино и театры, футболы и хоккеи.

И милиция уже готовится, продувая заранее свистки и мегафоны. И агенты готовятся, проверяя фотоаппараты и магнитофоны. И дружинники, выделенные для этой цели, получают инструкции. И спецмашины эанимают посты в окрестных дворах. И автобусы. И "воронки" – на всякий случай...

И засветло еще перегораживают улицу понизу и поверху, чтобы не ходил транспорт...

И засветло еще густеет поток евреев от метро к синагоге...

И засветло еще надо пройти внутрь, потому что потом не пробьешься, не влезешь, не увидишь, как понесут Тору, не услышишь кантора...

А поток все густеет... А народ все прибывает... И улица Архипова уже, кажется, не может вместить всех желающих... И зажигается первая звезда...

Это – удивительный день в году.

Это – день единственный.

Это – праздник "Симхат-Тора"...

5.

Откуда мы такие жизнерадостные, евреи? Ну, откуда?!

Вот отплясывают на улице Архипова, прямо на мостовой, молодежь со стариками, поют песни, целуются, пьют вино, поздравляют друг друга с праздником – с чего бы это? с какой такой радости?...

Не с достижений же советской власти. Не с бодрых песен советских композиторов: "С каждым днем все радостнее жить..." Не с утверждений отмененных вождей: "Жить стало лучше, жить стало веселей..."

Так откуда это у нас? Неужто не переводилось подобное в нашей истории, в наших традициях, когда народ пел и плясал, несмотря на гонения, убийства, издевательства с притеснениями? Неужто такое не переводилось?...

Каждый год, осенью, приходит этот день, удивительный день, неповторимый день, когда собираются евреи Москвы на улице Абрама Архипова. И если раньше приходили сюда считанные сотни, и вели себя скромно, и пели потихоньку, и расходились быстро, то теперь собираются тут тысячи и тысячи, и поют, и танцуют, и хохочут до ночи. И опять, как прежде, вся улица Архипова нашпигована агентами и переодетой милицией, но теперь это почему-то не страшно, теперь тут не только молодежь, которой терять нечего, но и старики, но и средний возраст: подходят семьями, с бабушками-внуками, встречают знакомых, друзей, родственников, сталкиваются с сослуживцами, а то и с начальством своим – вот уж совсем конфуз!

Этот праздник – "Симхат-Тора" – отдушина.

Это праздник, когда просыпаются от спячки. Вспоминают, кто они, почему они, зачем они...

Сколько было нас таких, что только в этот день шли к синагоге, только на этот праздник?

Сколько еще осталось таких, что в этот день – именно в этот – наиболее остро чувствуют свой

страх, обделенность, боязнь прийти на улиц и пова и присоединиться к другим. И хотя н х на нашем празднике, но он и для них, потому что тоже заставил задуматься... А там, глядишь, на другой год кто-то из них тоже прийдет к синагоге, сначала стесненно, с оглядкой, а потом и спокойно уже, привычно и гордо...

А внутрь синагоги не пробиться, не протолкнуться даже к ее ступеням.

А в зале – приглядись! – много молодых лиц: помолодела синагога, пустила новые ростки.

Мы-то думали: он уже погиб, этот гигантский ствол с корнями в неизведанную глубину. Мы-то думали: спилить его – и на дрова, в печку, на растопку... Но пришло время, и побежали по стволу свежие соки, и опушилось молодой листвой дерево-великан

Что-то стронулось, граждане евреи, что-то, видно, стронулось с места...

А праздник шумит, праздник разворачивается и набирает силу!

Гуляет улица Архипова под бдительным оком милиции и агентов.

Поет улица Архипова в двух шагах от главных государственных учреждений.

Танцует улица Архипова в самом центре столицы, позабыв про страх прошлых поколений.

Хохочет улица Архипова молодыми голосами, нашей надеждой и нашим будущим.

Чего нам бояться?

Это наш день.

Это наша радость.

Это наш праздник – "Симхат-Тора"!..

Страница третья

ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ!

"Уже в 46 году я окончательно понял, что уеду в Израиль. Тогда еще не было Израиля, была Палестина, и я слушал радио почти каждый день. Я слушал Би-би-си на английском языке: развитие событий..."

"Наши евреи вечно обсуждали два вопроса: будет ли война и будет ли девальвация. И исходя из этого всякий раз решали, что надо отсюда уносить ноги..."

"В 71 году Черновицы уже ехали вовсю. Я был в Черновицах и не проявил к этому никакого интереса. Я даже не знал, что означает слово ОВИР..."

"В шестидневную войну меня волновало одно: утвердят кандидатскую диссертацию или не утвердят..."

"И потом, вдруг, напала на меня тоска. И стало мне тошно при всем моем благополучии. Разговоры, пьянки, работа..."

"Я хочу уехать из этой страны. Я не хочу больше слышать антисемитские упреки: "Вы рисуете евреообразных людей и животных..."

"Я решаю теперь: или уехать, или перейти в областную партийную газету..."

"У меня было ощущение, что если я этого не сделаю, то мой отец как бы и не жил..."

Все началось с того, что я стал собирать документы.

И сразу ощутил неловкость.

Неловкость, стеснение, унижающее чувство стыда...

Бейте меня, клеймите меня, закидайте камнями за это, но мне неловко было пойти за справкой, за копией, за квитанцией.

Потому что везде — в конторе, в сберкассе, у нотариуса — надо было сообщать истинную причину, говорить громко и ясно: "для выезда на постоянное жительство в государство Израиль".

Я честно сообщал причину, — куда денешься? — и мне было неловко от удивленных, иронических, насмешливых, злобных и равнодушных взглядов.

Поверьте на слово: мне было стыдно за самого себя.

Еще поверьте: я боролся с собой.

Но неловкость не проходила, стеснение перехватариуса — надо было сообщать истинную причину,

Я спрашивал потом: многие прошли через это. Многим было неловко, стыдно и боязно. Очевидно, в нас во всех сидит вбитое веками подлое желание спрятать от окружающих свое национальное отличие, раствориться, исчезнуть, подладиться под общий фон.

Легко сказать гордо, во весь голос: "Я — русский!" Трудно, не всякому доступно: "Я — еврей!"

Как долго в нас вбивалась эта боязнь!

Как глубоко сидит: в крови, в генах, в подкорке!

И как быстро мы от нее избавляемся, как прекрасно освобождение: без оглядки, без шепота и опаски — назвать свою национальность.

И еще раз, еще и еще...

Свою национальность!

"На собрании присутствовало 150 человек. Никто из сидящих в зале даже не

пытался остановить эту ревущую толпу:

– В фашистское государство захотел?!

– Еврейской культуры захотел?!

– Провокатор!

– Плюет нам в лицо!

– Продал наше дело!

– Поставить его к стенке!

– Отправить в Тундру!

– Убить вместе с заморышами!

– Мало вас в войну постреляли!

– Давить их всех!

– Давили и будем давить!..”

”Народная артистка СССР Колпакова говорила о ”преступлении и измене в театре”; народная артистка Нинель Курганкина отказалась танцевать с ”изменником”; народный артист Викулов говорил о ”преступлении в храме любви и творчества”; педагог Каплан: ”Мы его породили, мы же его должны и убить...”

”Во время его выступления раздался крик на весь зал: ”Жидовская морда!” Это кричал коммунист Н. К. Небылов...”

Потом я подал документы.

Я подал все документы, которые требовались, чтобы не осталось никаких сомнений относительно моего намерения.

Сброшена маска. Выявлено нутро. Тайное стало явным.

И ко мне сразу пошли люди.

Их было много. Иногда по три на день.

Они садились в кресло, глядели на меня с диковинным изумлением, жадно вытягивали подробности.

("Ой, – сказала одна еврейка, – надо, чтобы мой Додик на вас поглядел. Ему будет интересно".)

Одни приходили, чтобы уговорить меня остаться. Другие – чтобы я их уговорил поехать.

И каждый из них непременно спрашивал:

– Почему ты едешь? Ну, почему? Тебя обидели? Тебя ущемили? Такая квартира! Такая работа! Такие возможности! Ну, почему ты едешь?..

Сначала я пробовал объяснять. Годами выношенное убеждение распадалось на мелкие причины и неубедительные доводы, каждый из которых не заслуживал ни малейшего внимания. Выходило пошло, глупо и вульгарно. Гости уходили неудовлетворенные, я оставался расстроенным.

Тогда я перестал объяснять. Я отвечал на вопрос и отвечаю до сих пор примерно так:

– Каждый живет свою собственную жизнь. Со своим окружением, со своими мыслями, со своим отношением к миру. Одни приходят к моему решению, другие – нет. И не надо убеждать. Не надо отговаривать. Пусть каждый решает за себя.

Вы едете? Счастливого пути!

Вы остаетесь? Будьте здоровы!

> "С этого дня мы в пути. Пусть же этот путь не будет слишком долгим! Пусть наши дети не растут на чемоданах..."

Итак, я подал документы. Я подал все документы, которые требовались, и сразу оказался без работы.

Меня отлучили от редакций, издательств и киностудий.

Мою книгу вернули из типографии.

Мою фамилию вырезали из титров моих фильмов.

Расторгли договора.

Вернули рукописи.

Запретили к исполнению.

Кто это сделал?

Мои редакторы. Лучшие мои друзья. Старинные, многолетние приятели.

Везде сидели и до сих пор сидят люди, которые, – смею надеяться, – любят меня и которые, – будь их воля, – продолжали бы со мной сотрудничать. Но им велели – и они это сделали.

Теперь я не могу заходить по памятным мне адресам. Я не могу звонить по известным наизусть телефонам. Я не хочу их подводить. Не имею право насиловать их совесть.

Ведь от них ничего не зависит!

Они все были разные, по-разному проявляли свое отношение ко мне, ссорились со мной и мирились, соглашались и спорили, обижались и защищали от начальства, но я уверен, что ни один из них по своему желанию не лишил бы меня работы.

Ни один!

Все делается их руками, но не их сердцем.

И я не вправе на них обижаться. Не вправе требовать невозможного.

Потому что и сам вряд ли способен на такое...

Конечно, чужая душа – потемки.

Есть, конечно, люди, что злорадствуют потихоньку по поводу моего положения, хихикают и потирают от удовольствия потные, завистливые ручонки.

Но – потихоньку...

Вслух они себя не проявляют. Атмосфера не та. Не тот пока климат.

Одно дело, написать в газете или выступить на собрании. Тут все поймут однозначно: человек подневольный, человека обязали. Другое дело – сказать вслух, в компании.

Не каждый рискнет.

И не в каждой компании...

Конечно, есть и такие, что злорадствуют, и, наверно, в предостаточном количестве, но сколько зато оказалось знакомых и совсем незнакомых, что звонили мне, писали, заходили домой, предлагая свою помощь и свои деньги, время свое и сочувствие.

Я благодарен им всем за явную и тайную поддержку.

Я сохраню в себе вечную к ним признательность.

Сколько у меня оказалось друзей: я и не подозревал!

Может быть, ради одного этого стоило подать заявление о выезде...

"Нет страны, приютившей евреев, которую не отблагодарили они трудом своим. Что же получали евреи взамен? Если все жили сносно, евреи в страхе ждали других времен. И если всем становилось плохо, евреи знали: пришел их смертный час, и тогда прятались или убегали из страны. И кто бежал, начинал все сначала. И кто не мог бежать, погибал. А кто хорошо прятался, дожидался других времен..."

"И пусть без приюта брели они по земле — у Бога всем нашлось место. И пусть их прах развеян по миру, память о них жива. В наших жилах — их кровь, слезы наши — их слезы..."

"Стариков я еще понимаю. Но есть среди вас молодые, которые, дескать, хотят ехать на родину, изучать свой древний язык. Родина? А вы ее видели? Да вам так нужен древнееврейский язык, как мне лунное затмение. Это все философия. Я жил с евреями и знаю, что это все чепуха..."

Н. А. Щелоков,
министр внутренних дел СССР

"Я этого решения не понимаю. Надо направить вас на обследование в психиатрический диспансер..."

Психиатр Семенова.

Через пять месяцев ожиданий я получил, наконец, отказ.

Мой выезд, сказал мужчина в милицейской форме, "противоречит государственным интересам".

Должен признаться: я скромный человек. Я никогда не преувеличиваю свои заслуги. Но тут я почувствовал прилив гордости.

Если мой выезд противоречит государственным интересам, значит я чего-то стою. Я очень важен и нужен. Без меня тут не обойтись. Государственные интересы пострадают, если я покину эту страну и перееду в другую.

"Вот, – сказал я себе, – а ты еще обижался на них, называл неблагодарными. Вот же, вот тебя оценили! Тебя отметили. Твой выезд противоречит государственным интересам. Это и есть признание твоих заслуг".

– Если я так нужен, – спросил я человека в милицейской форме, – то почему тогда мне не дают работать по специальности?

– По вопросам трудоустройства, – бодро ответил он, – обращайтесь в районные бюро. Следующий!

И начались годы отказа...

Годы отказа – это странные, чем-то даже нереальные годы, будто попадаешь ты в заколдованное время, в заколдованное место. Почему-то перестают приходить письма. Почему-то замолкает навсегда твой телефон. Почему-то хорошо знакомые люди перестают с тобой здороваться или делают это через силу. Почему-то милиция приглядывается к тебе. Почему-то ты, математик, работаешь лифтером. Почему-то ты, физик, таскаешь лотки с хлебом в булочной. Почему-то ты, учитель, ходишь с гаечным ключом по бойлерной.

Заколдованное время... Заколдованное место...

Прошлое у меня отняли: меня не было в прошлом. Будущее мне не давали: у меня не было будущего. И настоящее мое было не настоящим...

И приходили моменты, когда эта нежизнь ста-

новилась жизнью, и не хотелось ничего менять — привычка...

Я прожил его, это заколдованное время, иногда плохо, а иногда хорошо, иногда насыщенно, а иногда машинально, иногда храбро, а иногда и не очень — но никогда я не проклинал его, это время, что выпало, вдруг, на мою долю. Ведь это тоже жизнь, это часть моей жизни: как же от нее отказываться?...

Что делает еврей, получив отказ?

Естественно, начинает жаловаться. Начинает писать письма и бегать по начальству.

Опытные люди говорят: "Не надо". Опытные люди твердят: "Пустое".

Но мы не верим. Мы хотим найти правду. Мы расчитываем на торжество справедливости. Ведь нас так учили в школе: порок наказан, добродетель торжествует.

Я не ходил по начальству: это унизительно.

Я не писал потом жалобы: это бесполезно.

Потому что мне не ответил никто. Ни разу. Ни на одну жалобу.

И я, вдруг, понял: меня нет! Нет меня здесь, и теперь уже никогда не будет.

Я подал документы и с этого момента перестал для них существовать. Проживи я еще год, три, пять лет безвыездно — меня не заметят, не выслушают, не ответят.

Мы в пустоте. Мы в капсуле. Отторгнутые, отлученные от общества, от законов и правосудия. Формально мы еще граждане СССР, но фактически нас уже нет. Мы — люди без будущего, с неопределенным настоящим и сомнительным прошлым.

Никто нас не примет в кабинете. Никто не выслушает. Только человек в милицейской форме. Который скажет в лучшем случае: "Ждите". Или: "Через год пересмотрим". Или: "Что вы тут ходите, мешаете работать? Надо будет — вас вызовут".

Они к нам привыкли. Да-да, они привыкли к нам,

люди в милицейской форме. К нашим протестам. К нашим демонстрациям и голодовкам. Это раньше они не знали, что с нами делать. Это раньше они нервничали и суматошились. Прошло время – накопился опыт. А с ним – уверенность. А с ней – безнаказанность.

Их стратегия – полное отсутствие внешней логики.

Мы бьемся, мы ломаем головы, пытаемся угадать тайный смысл происходящего, но это нам не удается. Нет законов, нет регламента, нет обнародованных правил. И отпускают часто не самого активного, и держат подолгу не самого им нужного, и нет в этом никакой закономерности. А главное – мы не знаем даже, кто решает нашу судьбу, где, на каком уровне.

Можно сражаться с ветряными мельницами, но нельзя сражаться с пустотой.

Они привыкли к нам, люди в милицейской форме, и мир, к сожалению, привыкает тоже. "Да, вас не отпускают... Да, оставляют без работы... Да, сажают в тюрьму... Но ведь уезжают другие. И их много. Потерпите еще. Подождите. Придет и ваша очередь!"

Мы ждем.

Мы терпим.

Больше того: мы вытерпим.

Только матерям нашим, что волнуются за нас, не позавидуешь.

Да отцам нашим.

Да еще самим себе...

> "Первые три года в отказе – это очень полезно. То, что я узнал, почувствовал, пережил – это большой опыт. Потом он уже не набирался. Все попробовал, все увидел... Но первые три года – в самый раз. Чтобы понять, что за свободу надо платить, и кто ее получил просто так, тот ее не ценит..."

"Это были уникальные годы в нашей жизни. Есть идея. Цель. Критическая ситуация. Ты живешь! Мне было приятно просыпаться по утрам. Мне предстояли дела ради моей цели! Я до сих пор не могу вписаться в привычную колею. Мне скучно..."

"Когда я получил разрешение, – вернее, через пару дней после этого, когда я уже осознал, что у меня есть разрешение, – я понял, что мои друзья, которые остаются, – они же в ужасном положении. И как я этого не осознавал раньше?.. И я теперь рад и счастлив, что я этого не понимал. Это был единственный способ выжить тогда. Если бы я осознал, насколько безнадежно мое положение, как бы я мог вытерпеть столько? Шесть, семь лет..."

"Смешной момент в Вене: все, кто приехал на этот сборный пункт за колючей проволокой, с охраной, они очень нервничали, они говорили, что это напоминает концлагерь и прочее... А моя мама сказала: "Интересные люди! Первый раз я нахожусь в безопасности, а им не нравится. Пусть, – говорит, – нас охраняют, и еще сильнее..."

И вот мы ждем.

Мы ждем, а время идет.

Время идет, и меняются ценности.

В первые месяцы мы суетимся, бегаем, достаем, покупаем, запасаем на будущее. В первые месяцы мы нервничаем и переживаем, что нельзя взять с собой это, нельзя вывезти то.

Но проходит год, и несущественное спадает с нас пустой шелухой.

Они ужесточают таможенные правила, а мы смеемся. Они запрещают к вывозу разные вещи, а мы хохочем.

Вещи! Ну, какое значение могут иметь вещи?! Пока они пропускают через таможню наши души, нам нечего беспокоиться.

Отпустите нас голыми, ради приличия – с фиговым листиком, и мы радостно побежим босыми ногами в Шереметьево.

Отпустите нас голыми!..

И отпускают.

Отпускают евреев из России.

Течет к вокзалам и аэропортам негустой ручеек.

Едут евреи, едут и едут, а мы остаемся! То ли в назидание, то ли в острастку...

Почему? Или и мы не евреи?

Мы ждем и надеемся. Надеемся и ждем.

По утрам мы бежим к почтовому ящику.

Мы заглядываем в его темное нутро в невозможной надежде на долгожданное известие, но там ничего нет. Ящик пуст. Ощущение такое, как у бегуна на низком старте. Ты присел, собрался, судья поднял стартовый пистолет, но почему-то не стреляет... Может, он ждет, когда ты расслабишься, чтобы от неожиданного выстрела сделать тебя заикой на всю жизнь или уложить на старте с разрывом сердца? А может, у него неисправный пистолет? Кто его знает...

По субботам мы идем к синагоге.

Синагога – это клуб, это единственное место, где можно узнать новости, выслушать невероятные слухи, утешиться, огорчиться и приободриться. Стоят отказники и только что подавшие, колеблющиеся и решившиеся, толкуют о своих делах под бдительным взором нескрывающихся агентов. Телефоны у всех отключены, на почту надежда слабая, несговорчивые телефонистки не соединяют с заграницей, и слухи – единственная связь с миром. О миротворце-президенте, о добряках сенаторах, о видах на мир, торговлю и урожай. И если носилось раньше над толпой ев-

реев стоустое: "Киссинджер, Джексон... Джексон и Киссинджер", и миленькие еврейские девочки выговаривали с трудом своими пухлыми губками: "Джексон и Киссинджер... Киссинджер-Джексон...", то теперь уже носится над толпой: "Картер и Венс... Бжезинский и Картер..." На кого-то надо надеяться человеку, когда надеяться не на кого. Господи, как бы это могло быть трогательно, если бы не было так унизительно!

По непредусмотренным заранее дням мы едем в Шереметьево.

Уезжают наши друзья, исчезают навсегда старые знакомые и первые встречные, новые люди толкутся у синагоги. Не успел познакомиться, а уже пора прощаться. Не успел подружиться, а их уже нет.

А мы все прощаемся и прощаемся, и ходим на проводы, и пьем за здоровье водку, и бьем на счастье бокалы, и с увлечением таскаем на таможню чужие чемоданы, и машем привычно руками, и задираем головы вслед улетающим самолетам, и одиноко возвращаемся обратно из Шереметьева, из проклятого, заманчивого, недостижимого Шереметьева...

А мы все прощаемся и прощаемся, прощаемся и прощаемся...

Когда же, наконец, мы будем здороваться?!

ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ!

Поздравьте меня!
Я опять счастливый.
У меня – новый юбилей.
Два года ожиданий!

Ох, уж это счастье! Не успеешь выпроводить его за ворота, а оно уже лезет в окно. Ну, сколько можно?!

Два года! Два года...

Два — это не пять, как у некоторых. При них я еще дилетант, щенок, недоносок.

Но два — это и не год, когда все серьезно, строго и тяжеловесно. Когда в голову лезут мысли о законе, справедливости, гуманизме.

Два года — это особая статья. Два — это еще печально. Два — это уже насмешливо. Грустно и весело. Больно и щекотно...

Короче, два года — это два года. Не больше, не меньше.

Не верите? Проверьте сами...

* * *

И сказала одна лифтерша другой, разматывая бесконечную нить шерстяного вязания:

— И куды она едет? Ну, куды?! С ребятенками! За самую границу! В этакую-то даль! Когда за пятьдесят верст от Москвы уже жрать нечего...

* * *

И пришел человек с разинутым ртом, роняя крупную собачью слюну, и сказал, давясь обильным языком:

— Слыхали про Сему? Нет, вы слыхали про Сему?! Мой Сема уже в Австралии. Очень хорошо устроился! У него свой дом, сад, машина, яхта, сенокосилка и два кенгуру.

— А зачем Семе кенгуру?

— Я знаю?! В Австралии так положено. Каждому еврею община выдает по два кенгуру. Чтобы не тосковал по России.

* * *

И закричал инженер-кандидат-доцент-доктор-профессор картавым нечеловеческим голосом на страже

своей репутации-диссертации-квалификации-ассимиляции-презумпции-юрисдикции:

— У меня нет дочери! Нет!! Она умерла для меня! Подала документы и умерла. Ее убили сионисты! Но так просто она от меня от отвертится. Пусть сначала выплатит, а потом умирает!

* * *

И подкралась сбоку сваха с железными зубами, и изобразила на лице райскую сладость:

— Ой, вы получите удовольствие! Ай, это же цимес, это такой компот! Зовут ее Анечка. Старший инженер. Умница. На доске почета. Повышение квалификации. Зарплата — сто шестьдесят. Премии — ежеквартально.

— А она еврейка?

— Он еще спрашивает! Чтобы я была такая еврейка...

— А она не собирается уезжать?

— Фуй! Она никуда не собирается. Ей и тут хорошо.

— Извините, это меняет дело.

— Гражданин! Товарищ! Господин жених! Куда же вы? Повидайтесь, поговорите... Она может передумать... Она уже передумала!

* * *

И шепотом, вздохом, слабым дыханием в самое ухо:

— Ты хочешь уехать? Хочешь или не хочешь? Надо дать на лапу. Не знаю кому, но надо. Не знаю сколько, но много. Ты думаешь, они не берут? Правильно, они не берут. Но когда никто не дает, это опасно. Когда никто не дает, трудно доказать, что ты не берешь. Поэтому ход такой: ты даешь, они

не берут, вы уезжаете. Потому что если вы не уедете, можно подумать, что они брали, но ты не давал. Ясно?..

* * *

И возник в толпе шумок, прошелестел вверх по переулку, прокатился обратно, обрастая пугающими подробностями:

– Все. Договорились. Они меняют нас на зерно. Я сам слышал. Расклад такой: один еврей на тонну муки.

– Глупости! Все не так. Зерно они и без нас получат. Тут гораздо сложнее. Когда Бурунди договорится с Руандой, чтобы Мадагаскар попросил Тринидад и Тобаго выступить перед Исландией насчет отношений Сингапура с Мальдивской республикой, вот тогда у Берега Слоновой Кости развяжутся руки с Лихтенштейном и он упросит Верхнюю Вольту замолвить словечко насчет евреев. Вы меня хорошо поняли?

– Я вас хорошо понял. И когда все это можно ожидать?

– Сразу я вам не обещаю. Со временем – тоже. Все дело в Бурунди. Надо, чтобы Бурунди договорилось с Руандой...

* * *

– Евреи! Знаете, евреи, кто вы? Вы барометр. Вы – предсказатели погоды. Щелкни вас по носу, и увидишь, куда стрелка клонится. Выпускают вас – потепление. Держат – похолодание. Не будь вас, как они там, на Западе, узнают погоду? Гордитесь, евреи! Подставляйте носы! Сейчас вас будут щелкать! Если бы вас не было, евреи, то вас стоило бы выдумать...

* * *

Я подумал однажды ночью:

Вот они меня не выпускают. Не выпускают? Ладно, я потерплю. Но имеет ли кто-нибудь с этого дела свой кусочек удовольствия? Крошечный кусочек?

Я подумал той же ночью:

Нет, никто не имеет.

Вот он, этот человек, который меня не выпускает. Вот он, обобщенный тип, соединивший в себе все начальство и все организации.

Ах, как мне его жалко!

У него же вечные отрицательные эмоции. Он имеет дело с неприятными ему людьми, которые хотят понять, почему их не выпускают, и которых он не может по-простецки послать подальше.

Ах, как ему плохо!

Он в вечном раздвоении. Потому что его задача — не выпускать, сбивая волну, а его мечта — открыть двери пошире и выкинуть их всех — то-есть, нас — к чертовой матери!

Он не получает даже удовольствия от всех придуманных им административных мер. По той же причине. И от чудовищных денег, которые надо платить за выезд. Они — не ему. И от ущемлений на таможне, чтобы ничего не могли вывезти...

Как ни ущемляй, а они все равно уедут, те, кого неохота выпускать, те, от кого хотелось бы поскорее избавиться.

Вечная раздвоенность. Вечная неудовлетворенность. И от того — неврозы, язвы желудков, обморочные головокружения.

Нет, эта работа не для женщин!

Ах, как мне его жалко, ах, ах!

Уж если я мучаюсь, пусть хоть кто-нибудь получит с этого дела свой кусочек удовольствия...

Но если нет от этого никому радости, так зачем же они тогда меня держат?!

* * *

И еще я подумал однажды ночью:

Моего деда схоронили на еврейском кладбище в Дорогомилово. Все, как надо, с памятником, с надписью по-еврейски. Перед самой войной кладбище решили вынести из города, и всем разослали повестки на перехоронение. Кто пришел за своими, а кто и не пришел...

Всех, невостребованных, перевезли в Востряково, захоронили сообща. Востребованным давали отдельные места там же. Моего деда перехоронили заново, на новое место, поставили на холмик временную табличку с номером. Памятник перенести не успели, началась война...

В сорок третьем году памятники с Дорогомилова лежали навалом у Востряково. Дошлые мужички стесывали с них старые надписи, бойко выбивали новые. Работа шла конвейером... Могилу моего деда мы не нашли. В войну на этом месте было неизвестно что. Говорят, полигон. Учили солдат. Короче, ни таблички, ни холмика, ни памятника...

Могила моей бабушки есть. Она лежит в Востряково, за оградкой. У нее все в порядке...

Я уеду отсюда, и меня, наверно, не пустят назад. Даже на кладбище. Говорят, что евреи Испании уносили в изгнание могильные плиты своих близких. Их выгоняли – мы уходим сами. В этом наша разница. Они уходили навсегда, мы – тоже. В этом – общее.
Все повторяется.
Все повторяется...

* * *

И заплакала мать, которая не могла уехать...
И зарыдала дочь, которая не могла остаться...
И заскрипел зубами сын...
И проклял кого-то отец...
И дед благословил...
И бабка плюнула вослед...
И спасся кто-то от подозрений...
И умер кто-то от печали...

И воротился некто назад, выпросив на то соизволение свыше...

А мы сидим и сидим. И жизнь у нас вокзальная. Прошлого уже нет, будущее не наступило, и поезд невыносимо запаздывает...

Поздравьте меня!

Сегодня у меня юбилей. Два года ожиданий. А там и три, там и четыре... А у кого-то теперь и пять, и семь, и девять...

Юбилеи! Сплошные юбилеи!!

Смех и веселье... Музыка и танцы...

Вот только сердце что-то болит, подлое... Сердце наше отсчитывает свой срок...

Чокнемся, братцы, валокординчиком!

Страница четвертая

МОЙ СЫН, ЩАРАНСКИЙ АНАТОЛИЙ

Евреи!
Поглядим правде в глаза, евреи!
Один только раз поглядим...
А где она – наша правда? Где она, где?!
Как ее отыскать в ворохе чужих полуправд?
А правда наша – старики наши.

Вот и поглядим в глаза старикам нашим. Битым и ломаным. Пуганым и задавленным. Приспособившимся к невозможному. Убежавшим от неизбежного. Позабывшим незабываемое.

Поглядим в глаза – не зажмуримся.

Поглядим – не откажемся.

Поглядим – примерим на свой счет...

Он сказал мне однажды, молодой еще музыкант, скрипач из хорошего оркестра:

– Я теперь спокоен, – сказал он. – У меня появился запасной выход. Если они выкинут меня с работы, я всегда смогу уехать.

Его выкинули...

Покрутился, повертелся, с трудом и по знакомству устроился в оркестрик похуже.

Вчера я его опять встретил:

– Я спокоен, – сказал он, позабыв про первый наш разговор. – У меня есть запасной выход. Если они меня выкинут...

Евреи!
Поглядим совести в глаза, евреи!
Один только раз поглядим...
А где она – наша совесть? Где она, где?!
А совесть наша – дети наши.

Вот и поглядим в глаза детям нашим. Не сытым еще – не зажравшимся. Не трусливым еще – не продавшимся. Гордым еще и добрым. Нерасчетливым и наивным.

Дети наши – это прошлое наше.
Старики – наше будущее.

Все наоборот, навыворот, наизнанку... Все перелицовано трижды и пятижды.

Так как же нам вывернуться на нашу естественную сторону? Как же нам, как?!

И можно ли?

И не опасно ли?

И где она, где она – наша естественная сторона?..

Чтобы старики наши стали нашим прошлым. Дети – нашим будущим.

И вот мы уже выворачиваемся.

Вот мы кряхтим и стонем. Пыхтим и надрываемся. Страдаем сами и мучаем других.

Выворачиваемся, братцы, выворачиваемся!

Но какой дорогой ценой...

Председателю Президиума Верховного Совета СССР от Мильгром И. П.

Мой сын, Щаранский Анатолий, был арестован 15 марта 1977 года...

Его прадед захотел умереть в Палестине.

Захотел и захотел.

Были такие чудаки во все времена.

Что делал еврей в подобном случае?

А что он мог делать? Шел в канцелярию градоначальника, писал заявление, платил десять рублей – и через две недели получал заграничный паспорт.

Его прадед так и сделал. Пошел, написал, заплатил – и уехал в Палестину. И жил там. И умер там.

А дети остались на Украине. И правнуки.

Это был год тысяча девятьсот тринадцатый.

С этим годом у нас долгое время любили сравнивать разные показатели.

Сколько нефти в тринадцатом году и сколько теперь. Сколько угля. Чугуна. Стали. Всякого прочего добра...

Сравним и мы.

И тоже с тысяча девятьсот тринадцатым...

Его дядя сидел в тюрьме за сионизм.

Сидел себе и сидел.

Были такие чудаки во все времена.

Было такое веселое время, когда за это сажали и объявляли открыто, что сажают за сионизм, а не за паразитический, будто бы, образ жизни, не за шпионаж и хулиганство. Нравы тогда были попроще. Оглядки на Запад поменьше.

В тюрьме дяде предложили:

— Или подпиши, что не будешь заниматься сионистской пропагандой, или высылка.

Дядя предпочел высылку. И уехал на пароходе. Через Турцию в Хайфу.

А братья остались на Украине. И сестры. И племянники — уже родившиеся и еще нет.

Это был год тысяча девятьсот двадцать второй.

Опыта у властей еще не было. Традиции не сложились. Профессионализмом и не пахло. Но уже проклевывались первые ростки. Робкие, но многообещающие.

В порту, у трапа парохода, провожающих фотографировали.

Так и представляется неуклюжий аппарат на треноге, маг-чародей из ЧК под черным покрывалом, вспышка дымного магния...

Это вам не теперешняя электроника!

Это вам не микрофон в горошине. Не фотоаппарат в пуговице. Не радиоактивные изотопы. По сравнению с двадцать вторым годом мы давно уже взлетели в заоблачные высоты.

А по сравнению с тринадцатым!..

Председателю Президиума Верховного Совета СССР от Мильгром И. П.

Мой сын, Щаранский Анатолий, родился в городе Донецке в 1948 году...

Украина, Украина!

Сколько детей еврейских родила ты, Украина!

Сколько выкормила – выпестовала – соединила – оженила – похоронила!

Сколько забила насмерть!

Топот казачий, посвист гайдамачий, мат-перемат петлюровский, кованая поступь полицая...

Что же случилось на земле твоей, Украина, после тринадцатого года? Что случилось, Украина? Страшно вспомнить...

По всему миру, Украина, рассеяны пасынки твои – евреи. По странам и материкам: у кого дедушка, у кого бабушка, а кто и сам – с Украины. Едут к тебе – к могилам с пепелищами. Едут к тебе – к детству оборванному. Едут к тебе – едут к себе.

Вспоминают тебя, проклинают тебя, благословляют тебя, Украина. Хаты беленые, вишни в цветении, доброту с пирогами и галушками, злобу с кольями да нагайками...

Узел на тебе завязан, Украина. Плотный, тугой узел, что не разодрать и зубами.

Бегут от тебя и тоскуют по тебе.

Цепляются за тебя и мечтают о побеге.

Украина, Украина!

Как нам с тобой повезло, Украина!

Как нам не повезло с тобой...

Председателю Президиума Верховного Совета СССР от Мильгром И. П.

Мой сын, Щаранский Анатолий, в 1972 году закончил московский физикотехнический институт...

Поздние дети – нежданные дети.

Поздние всегда, как чудо.

Когда не ждешь уже, не надеешься, примирился навечно с невозможным, с привычной горечью глядишь на беременных девочек, на отцов с колясками, на бабушек с внучками, на годы свои уходящие, на старость впереди нехлопотливую, на бесцельность привычную..., и вдруг – нежданно-негаданно – пода-

рок тебе, откровение, чудо, не просто рождение – знак неразгаданный...

Поздние дети – ненаглядные дети.

Над которыми дрожишь и удивляешься, радуешься и гордишься: не знаешь, кого и благодарить...

А они с братом были поздние.

Мать родила их уже под сорок.

Когда и не чаяла...

И стал жить мальчик.

Мальчик как мальчик.

Жил себе и жил.

Были такие чудаки во все времена.

В школу ходил, книжки читал, кино смотрел, речи слушал, сам потом выступал.

Все, как у всех. Все, как для всех. Только ростом оказался поменьше да задумчивостью побольше. Да еще не всякого до себя допускал, долго держал за стеночкой, приглядывался-присматривался, стоит ли этому человеку дверцу открыть.

В футбол играть не любил. Гвозди забивать не умел.

Любил математику. Любил шахматы.

В двенадцать лет напечатал шахматную задачку собственного изобретения. Заплатили за это 5 рублей 35 копеек. С вычетом за бездетность.

В четырнадцать лет – первый разряд по шахматам.

В пятнадцать – кандидат в мастера.

Так и хранятся в семье вырезки из тех старых газет с упоминанием фамилии юного дарования, да еще квиточек денежного перевода на 5 рублей 35 копеек. И фотографии хранятся. И разные мелочи, несущественные для постороннего.

Поздние дети – особые дети...

А дорога для него расстилалась ровная, гладкая, будто под горку: катись – не споткнешься. Школа с золотой медалью – институтский диплом на отлично – работа научная, перспективная...

Жизнь открывалась прекрасная!

Судьба баловала сверх меры!

По сравнению с тринадцатым годом разве может быть хоть какое-нибудь сравнение?!...

Войны не знал, Сталина не помнил, дело "врачей-убийц" обошло стороной, в младенчестве... Еврейство свое не ощущал, традиций не имел, истории не знал, песен не слышал: все, как для всех, все, как у всех. Само время освободило от необходимости знать и помнить. Само время услужливо подсунуло оправдания с отговорками.

И везде он был активистом. Всегда и везде. В школе. В институте. На работе...

Ах, евреи, евреи! Сколько вы наработали на других, евреи. В веках. В странах. Мозги свои отдавали. Мускулы свои. Идеи и эмоции. Энергию и страстность... Самих себя на удобрение...

Ах, евреи, евреи! Не пора ли, евреи, поработать на себя? Землю свою удобрить. Горе свое помыкать. Радость свою испить. Свою – не чужую.

Не пора ли, евреи?..

Председателю Президиума Верховного Совета СССР от Мильгром И. П.

Мой сын, Щаранский Анатолий, в 1973 году подал заявление о выезде в Израиль...

Как мы приходим к этому?

Кто знает – как?

Что толкает нас? Что заставляет нас? Что сидит в нас до поры-до срока, чтобы пробудиться нечаянно и врасплох?

Во все времена евреи срывались с насиженного места, во все времена...

У одних – флаг на мачте, ветер в паруса, горизонты отпахнутые. У других – прыщ на седалище: не усидеть. У третьих – тоска едучая, от которой бегут всю жизнь – не убежать...

Но главное не это. Не это – основное...

Веками повторяемое, веками ожидаемое – заклинанием, верой неистовой, надеждой невозмож-

ной, вдохом каждым и каждым выдохом: "В будущем году...", "В будущем году...", "В будущем..."

Ниточка.

Вечная ниточка.

Ниточка малая, невесомая.

Через моря и страны.

Ниточка, которую не ощущаешь долго, до первого ее натяжения.

А натяжение слабое, прерывистое: не всякий и уловит это натяжение, не всякий и поймет, не всякий и захочет...

"Рабами были вы в земле Египетской..."

Рабами были мы. Рабами стали мы. Рабами со всеми удобствами.

Какое у нас, граждане, обеспеченное рабство! Какая упоительная возможность заложить ненужную душу в обмен на добавочное тело!..

В Киеве случилось землетрясение. Дома качались, как деревья в бурю. Народ сыпался вниз по лестницам, напуганный и полуодетый.

Одна дама выскочила на улицу с двумя хрустальными вазами в обнимку. Вазы — они могут разбиться. Хрусталь — он нынче подорожал. Она отдышалась на ветерке, огляделась вокруг себя и закричала, вдруг, в ужасе и смятении:

— Лорочка! Где Лорочка?! Я забыла про Лорочку!..

А ниточка тянет. Тянет ниточка. Тянет и на ком-то обрывается. Перегруженная добром нахватанным, страхом накопленным, самодовольством и безразличием...

Сегодня мы голосуем ответственно: да—нет. Сегодня мы решаем за себя и за потомков своих: да—нет. Сегодня мы не можем оговориться незнанием и воздержаться: да—нет. Сегодня мы уже умудрены опытом прошлых лет, когда неожиданно, врасплох, закрылись на десятилетия выпускные двери: да-нет. Сегодня мы понимаем, что двери могут закрыться еще раз, по расчету или по прихоти. Сегодня мы не имеем возможности сослаться на спасительное "завтра".

Сегодня — это значит сейчас. Завтра — может быть, никогда.

Это вам не тринадцатый год... Это вам не канцелярия наивного градоначальника...

Можно спрятать голову под подушку, можно отогнать от себя эти дурацкие, навязчивые мысли, можно что ни год продлевать вызов из Израиля: да—нет, евреи, да—нет!

Как ни называйте это, как ни оплевывайте, как ни бегите прочь, — заложено в нас странничество, тяга, вечное движение по чужим землям в ту, свою, единственную... А потери, — ну и что же, что потери? — потери бывают на всяком пути. Вон и теперь: многие выехали, да не доехали, выехали, да проехали мимо, продлили странничество свое по окольным путям. И на потомков своих переложили они это последнее, единственное решение: через века веков вернуться на Родину.

Ниточка тянет. Ниточка утягивает...

Вера неистовая. Вера невозможная. Вдох с выдохом...

В разгаре очередного спора тихий, задумчивый мужчина с осанкой патриарха, с лицом праведника, со взглядом пророка спросил, вдруг, заинтересованно:

— А те, кто остается, будут как-то отмечены? Что они получат за это, те, кто остается?..

Международному комитету математиков от Мильгром И. П.

Мой сын, Щаранский Анатолий, только начал жить, он хочет быть математиком, его первые шаги в науке многообещающие. Но он желает остаться евреем, жить в своей стране, со своим народом...

Почему мы не хвалим друг друга?
Почему не охраняем, не бережем?
Почему мы такие скупые на слова и эмоции?

Надо умереть, чтобы помянули тебя добрым словом.

Надо сесть в тюрьму, чтобы перечислили твои заслуги.

Вот он стоит перед нами: малого роста, лысый с молодости, большелобый и пухлогубый, белозубый и веселоглазый.

Малого роста и лысый с молодости, – кому от этого было хорошо?

Ему.

У кого не проявлялись комплексы, – удавкой за горло?

У него.

И другие вокруг не чувствовали его обделенности. Недаром же он сумел покорить красавицу!

А что? Так и должно быть. Жена? Конечно, красавица. Дела? Конечно, большие. Работа – лучшая. Успехи – грандиозные. Судьба – счастливая.

Щаранские – они все оптимисты.

Это у них семейное...

"Анатолий Щаранский – человек абсолютно бескорыстный, честный, добрый, благожелательный к другим людям, – пишет друг его детства. – Я утверждаю это, ибо знаю Толю еще со школьных лет, тех лет, когда формируется личность человека, и на протяжении всего нашего знакомства у меня ни разу не было оснований усомниться в добрых качествах его души".

Вот он стоит перед нами: добрый и мягкий, спокойный и благоразумный, четкий и обязательный.

Цепкий ум: все понимает с полуслова.

Шахматист: просчитывает вперед на много ходов – личные дела, работу, жизнь.

Бессеребреник: ничего не надо. "Один свитер есть, так зачем второй? Два сразу не наденешь".

Неловкий в быту: все разбивает, все проливает, ломает, опрокидывает, теряет. Но не в делах. Не в работе.

Сладкоежка...

"Умный, рассудительный, лишенный какой-либо

агрессивности, Анатолий никогда не действовал под влиянием порыва или давлением чужого авторитета. Он всегда стремился разобраться в ситуации, вынести свое суждение, но придя к какому-то выводу, отметал безразличие и страх и делал так, как велела его совесть".

Вот он стоит перед нами:

– Я голоден. Покормите меня.

Без нахальства. Без стеснения. Как должное. Ведь он пришел к своим, он пришел к друзьям. Поел – и побежал дальше, по неотложным делам.

Дай Бог, чтобы у вас был такой дом, куда можно постучаться без стеснения, в неурочный час:

– Я голоден. Покормите меня.

Дай Бог, чтобы у вас были такие друзья, которые могут постучаться в вашу дверь...

"Будучи человеком общественным по своей природе, смелым и требовательным, он вступается и за других людей, оказавшихся в таком же положении..."

Еврей, беспокоящийся о евреях.

Еврей, беспокоящийся о неевреях.

Когда страдают люди, им надо помогать, не спрашивая национальности.

Это в наших традициях. В крови нашей...

Вот он стоит перед нами: оптимист, жизнелюб, с улыбкой от уха и до уха.

Уверенный в себе и в других. Сосредоточенный на надеждах – не на страхе. Принимающий плохие прогнозы, как временные. Хорошие – навсегда.

Щаранские – они все оптимисты.

Это у них наследственное...

Но уже на шахматной доске зашевелилась странная фигура, тихая, незаметная пешка, помаленьку проползшая в ферзи, – Саня Липавский.

Это был их сюрприз.

Ах, Саня, Саня, ласковый ты наш теленочек!
Ах, Саня, Саня, усатое, мурлычащее создание!

Откуда же ты взялся, дорогой?

Как же влез в самую нашу серединку, в души наши, стал нужным и незаменимым, услужливым и участливым?

Вот я гляжу на фото, где все мы. И ты. И я. И другие. И хозяин дома, нежный твой друг, которого ты теперь оплевываешь. И Толя Щаранский, преданный твой товарищ, которого ты сдал в тюрьму с рук на руки.

Что же тебя заставило, Саня, что?

Чем они тебя взяли? На что купили? На испуг или на деньги?

И когда ты был до конца искренним? Тогда – с нами? Или теперь – в газете?..

"Мне нелегко было взяться за перо, но после долгих и мучительных раздумий я пришел к выводу, что должен это сделать..."

Не было у тебя, Саня, "мучительных раздумий". Не было у тебя такого периода, когда ты мог бы задуматься, одуматься, отойти от нас, понять свою "трагическую ошибку". Еще за пару дней до статьи в газете ты все так же улыбался, лизался, целовался со всеми. Еще за пару дней до статьи ты намеревался более активно включиться в работу.

В какую "работу", Саня?

"Я хотел бы заявить, что приложу все свои силы в разоблачении враждебной деятельности отщепенцев и изменников Родины, которые продались ЦРУ..."

Еще за пару дней до статьи ты хотел приложить все свои силы для выезда в Израиль. Еще за пару дней до статьи ты снял в городе комнату, чтобы можно было задерживаться по делам и не ехать ночью домой, за город. Что ты готовил, Саня, в этой комнате, какие ловушки? Каким шпиговал ее оборудованием для подслушивания и подглядывания? Нет, не было у тебя "мучительных раздумий", Саня Липавский, а просто дернули наверху за веревочку, и ты сработал, ты исполнил свой номер, свой трюк,

свою коротенькую игру – пляшущий человечек, однодневка...

Недаром ты так нервничал в тот последний день, все ждал какого-то звонка, ждал команды...

И дождался.

"Я хотел бы посвятить себя борьбе за идеалы мира, дружбы народов, за социализм..."

Борьбе? Какой еще борьбе ты хочешь себя посвятить? С кем собираешься бороться, Саня, с какими еще друзьями?

Несчастны те идеалы, которые нуждаются в помощи такого человека...

Назавтра после статьи я показал наше общее фото двум разным людям. Которые не знали тебя. Которые не знали никого на этом снимке. Я попросил их угадать, кто же тут Саня Липавский.

Оба указали на тебя, Саня.

Оба, не сговариваясь.

Случайность?

Наверно, случайность. Ошеломляющее совпадение, от которого становится погано на душе.

Как же я тогда проглядел тебя, Саня Липавский? Как же все мы?..

Случайность? Может быть, случайность...

Но не случайно их выбор пал на тебя, Саня, нет, не случайно.

Все мы под надзором. Все мы под микроскопом. К каждому из нас приглядываются, прицениваются, прикидывают, на что можно взять: на корысть или на испуг.

В каждом из нас отыскивают изъяны, дефекты, гнильцу душ наших, чтобы ударить в слабое, незащищенное место. А там уж как Бог пошлет: выдержим мы или согнемся...

Но почему все-таки они выбирают одних и пропускают других?

Почему?

Вот о чем неплохо бы подумать!

Поглядим в зеркало, евреи, в глаза свои поглядим.

Нет ли и там запрятавшегося до времени ласкового теленочка? Нет ли и там усатого, мурлыкающего создания, которое продаст всех, начиная с самого себя? Нет ли и там трещины, дефекта, изъяна, – помощника тем, кто улавливает наши души?

А Липавский, – ну и что же, что Липавский? По сравнению с тринадцатым годом ничего особенного не произошло. Такие бывали во все времена. Такие есть и теперь. Такие будут. И нам жить около них. Нам – работать. Нам – доверять. И расплачиваться – тоже нам...

Нет у нас никаких тайн. Нет секретов. Нечем нам торговать на шпионском рынке. Все это чушь собачья!

Одно у нас – громко и открыто – наше желание выехать отсюда. Выехать. ВЫЕХАТЬ!

А Саню... Саню можно только пожалеть.

Если он и вправду мечтал уехать, – теперь не уедет.

Если он и вправду пришел к нам по заданию, – потерял бездарно многие годы.

А ведь ему жить еще, – и долго жить, – ему работать, растить сына, заводить новых друзей, потом их продавать – тоже ему...

Теперь они от него не отцепятся!

Вот нам и урок, евреи.

Какой нам прекрасный урок!..

И что же потом? Что потом? Сразу, после статьи в газете о "шпионе Щаранском"?

Психическая атака. Десятисуточное непрерывное давление. День и ночь. Машины у подъезда. Агенты у квартирной двери. Он ехал в лифте – и они с ним. Он шел по улице – и они рядом. Он стоял у синагоги – и они стояли. По пять, по восемь сразу.

Давление. Наглое, непрерывное давление. Когда не знаешь, что будет с тобой через минуту. Когда выходишь на улицу, в булочную, за газетой, надев предварительно теплое белье, прихватив с собой зубную щетку, гребешок, прочие предметы, которые

понадобятся в тюрьме. И так десять дней. Демонстрация силы и власти. Чтобы поколебать, сбить, запугать...

А он пока что учил иврит, ходил на семинар, решал шахматные задачки, писал письма. Приходили к нему родители, пугались, натыкаясь на агентов у двери, а он их успокаивал. Он их убеждал, что это нестрашно. Ерунда. Простой спектакль. И они верили. Они хотели верить. Они не могли не верить, потому что он – их сын. Поздний ребенок.

Щаранские – они все оптимисты.

Это у них наследственное...

Десять дней непрерывного давления. Десять дней ожиданий: возьмут или не возьмут. Давление было огромно. Каково же оно стало потом? В камере. Без друзей и близких. Под нависшей угрозой сурового приговора...

Как им хотелось тогда сломать его!

Как им теперь этого хочется!..

14 марта, вечером, он включил радио, слушал музыку. Мягкое кресло. Чай с конфетами. Тишина и покой.

– Я успокоился, – сказал. – Прошло десять дней. Вряд ли теперь возьмут...

Назавтра его взяли.

Будто прослушивали они квартиру, будто ждали только момента, когда расслабится, чтобы схватить врасплох...

В тот день, 15 марта, узнали об освобождении из тюрьмы доктора Штерна.

Обрадовались. Выпили по такому поводу. Побежали на улицу, к телефону, обзвонить кого только можно.

Двое втиснулись за ними в лифт.

Внизу они оттерли его от попутчиков.

Резко толкнули в спину.

Выбросили на улицу, в ловкие руки.

Запихнули в машину.

Увезли...

Освободили Штерна — посадили Щаранского.
Как мы боялись этого!
Как нам это знакомо!
По сравнению с тринадцатым годом такой накопили опыт, — врагам не пожелаешь...

Председателю Президиума Верховного Совета СССР от Мильгром И. П.

Я обращаюсь к вам с просьбой проявить гуманность и разрешить моему сыну, Щаранскому Анатолию, выехать в Израиль, воссоединиться с женой, а нам, престарелым родителям, потерявшим за это время покой и здоровье, вы дадите возможность спокойно дожить те немногие годы, которые нам отведены...

И вот уже предъявлено обвинение.
Официально.
По уголовному кодексу Российской Федерации.
Статья 64-а: измена Родине.
Наказание: от десяти лет тюрьмы до расстрела.
Что же такое у нас — измена Родине?
Если вы хотите покинуть эту страну, вы уже изменник.
Если вы несогласны хоть с чем-нибудь, вы диссидент.
Если вы настаиваете на своем, вы сумасшедший...
И вот уже был суд. Закрытый суд.
И вот уже Щаранскому — Анатолию, Толе, Толику — сидеть в тюрьме до 1990 года...
Его прадед захотел умереть в Палестине.
Захотел — и уехал.
Он захотел жить в Израиле.
Захотел — и сел в тюрьму.
Такова, видно, доля наша:
одних провожаем на взлет,
других провожаем на срок...

И сравнивать нам теперь уже не надо с тринадцатым патриархальным годом.

Есть у нас для этого страшный и жестокий – пятьдесят третий.

Там были "евреи-отравители".

Тут – "еврей-шпион"...

С пятьдесят третьего по семьдесят шестой как-то обходились без этого.

С семьдесят седьмого, видно, не обойтись...

За полгода до ареста он решил сделать обрезание.

За неделю до ареста он попросил называть себя не Толя, а Натан.

Так замыкается круг.

Так мы возвращаемся назад, к себе, к своим, к прадедам и к праотцам.

Возвращаемся, граждане, возвращаемся!

Но какой дорогой ценой...

Мы верим в тебя, Щаранский Анатолий!

Мы будем ждать тебя, Щаранский Натан!

В будущем году мы встретим тебя в Иерусалиме.

Евреи – мы все оптимисты.

Это у нас наследственное...

Страница пятая

Я ОТ ВАС ОТКЛЮЧАЮСЬ!

1.

Вот вам анекдот...

Что придуман про евреев. Что рассказывается до сих пор. И всегда – с неизменным успехом...

На манеж цирка выходит холеный, сытый, вальяжный шпрехшталмейстер во фраке и под нервную дробь барабана, под тревожные мелькания прожекторов громко и зловеще объявляет: "Смертельный номер! Человек-еврей!"

Вот такой это короткий анекдот, за которым так и видится зримое продолжение: выходит на арену маленький, пугливый, затравленный человечек и делает круг по манежу, испуганно приседая, прикрывая лицо руками, всякую секунду ожидая удара или плевка.

Смертельный номер: человек-еврей...

> "В помещении первой нотариальной конторы хулиганы хватали его за руки, толкали, провоцировали на драку. Все это сопровождалось выкриками: "Жид, жидовская морда, еврейское отродье... Под поезд сбросим, когда будешь уезжать, морду набьем, ребра переломаем..." На просьбу работника милиции предъявить документы один из них ответил: "Сержант, занимайтесь своим делом. У нас тоже работа..."
>
> "Ведите себя прилично", – говорю я. Ответ не заставил себя долго ждать: "Жидовская харя! Да я тебя... Тухнешь пять лет в отказе, еще десять будешь сидеть!.." При выходе из троллейбуса кто-то схватил меня за руку, я кричу: "Караул, помогите!" Хватают, толкают, я падаю, за руки меня волокут по асфальту к машине..."

"Они профессионально заломили нам руки и поволокли сквозь ряды потрясенных иностранных туристов через всю гостиницу. Мы криками пытались объяснить, кто мы такие. Тогда нам стали зажимать рты, а мне кто-то сзади сдавил горло с такой силой, что я на мгновение потерял сознание... Майор милиции сказал: "Было бы при Сталине – мы бы их быстро передавили..."

"Один из них побежал вперед и что-то сказал милиционеру у входа. И когда мы подошли к посольству, милиционер сразу перегородил дорогу американцу, и одновременно на меня набросилось много людей в штатском. И на Бегуна тоже...

Американец из посольства начал протестовать, но ему сказали, что мы опасные преступники. Он кричал, что мы гости посольства, у нас есть дело к нему: они не хотели ничего слушать. Они мне скрутили руки, схватили за ноги, бросили на заднее сиденье машины, и там, матерно ругаясь, – "Ну, сука, мы тебе сейчас покажем..." – схватили еще за голову, и мы помчались с включенной сиреной, по средней полосе, через всю Москву...

Американец потом говорил, что ничего ужаснее в своей жизни он не видел..."

"– Завтра об этом узнает весь мир, – сказал я.

– Плевать, – был ответ..."

И снова нас бьют!
Опять и опять...

Как прежде, как всегда, как оно и положено по неписаным правилам.

Эка невидаль! А когда их не били? А кто их не бил?

Веками над Россией, над нашими головами – кулак волосатый, сапог квадратный, сивушно-луковый перегар...

– Давайте, ребята! Чего стесняться?

А ребята и не стесняются. Ребятам только мигни...

Честное слово, это даже достойно уважения! Их упоительное беззаконие. Их блистательная безнаказанность. Их сладостная разнузданность. Захотел – и ударил. Приспичило – и пнул. Пожелал – и жидом обозвал. Как их за это не уважать?!

Вы только себе представьте!

Кто мог такое предположить?!

Даже в самых смелых мечтах!!

В центре Москвы, в центре России, в центре всего прогрессивного человечества они выволакивают евреев из приемной президента страны, отвозят их за шестьдесят километров от города и избивают в лесу. Проламывают носы, бьют по ребрам и в пах, профессионально наставляют синяки.

За что?!

А за то...

За все!

Эй, американцы! Вас когда-нибудь увозили из Белого Дома в темный лес – и кулаками, ногами, пинками?..

Эй, англичане! Вас когда-нибудь выволакивали из дворца королевы – и в нос, и под зад, и ребрами по асфальту?..

Эй, французы! Как же вы без этого живете?..

Мне жалко вас, иностранцы!

Мне жалко всех нас...

А кто-то из евреев уже их защищает. Кто-то говорит, что били они не по приказу сверху, а так, по собственной инициативе, и это, конечно, не одно и то же. Это – разные вещи. С этим можно жить...

Завтра вас отвезут, евреи, за двести километров от города и закопают в гнилом овраге. Но у вас зато останется напоследок некое чувство удовлетворенности, что сделано это безо всякой команды, а так – по личной инициативе...

Эх, евреи, евреи!

Опять вас бьют, евреи! Опять и опять...

Кого еще там не били?

Выходи, твоя очередь...

II.

"– Нам известно, что три дня назад у вас дома были иностранные корреспонденты.

– А разве советскими законами запрещено общаться с иностранными корреспондентами?

– Нет, не запрещено. Но если вы еще раз с ними встретитесь, то получите пятнадцать суток.

– По какому закону?

– А вы не беспокойтесь – все будет по закону!.."

"И если милиционер говорил корреспондентам: "Проходите, граждане, не скандальте, уже для визита позднее время", то агент КГБ выражал свои мысли более определенно: "Проходите, проходите, дипломат! Придешь еще раз, я с тобой по-нашенски, по-русски поговорю, я тебе ноги переломаю!"

"– А наших иностранных коллег вы тоже арестуете?

– А ваших иностранных коллег – коленкой под зад!"

– Я помню хорошо этого человека.

Я видел его не один раз...

Солидный, преуспевающий журналист из крупной газеты. Имя. Положение. Возможности...

Он катался по Москве на огромной машине. На самой огромной, какие я когда-либо видел.

А как он сидел за рулем! Как оглядывал прохожих! Как брал интервью! Блистательный образец уверенного в себе мужчины...

Ему хватило двух допросов.

Двух хороших допросов.

Почему? Не могу понять...

Мы же выдерживали больше. За нами никто не стоял. Ни посольство. Ни Америка. Ни ее президент. Нас раздавить – раз плюнуть.

Так почему – мы держались, а он сразу сломался?..

Я видел его после допросов.

Это был другой человек.

У него мотались глаза сверху вниз. Будто его сильно встряхнули, и он не мог никак успокоиться...

Почему? В чем дело?..

– Был один момент, когда я понял, что я сел... Но я был к этому готов.

Я давно был к этому готов.

Я думаю, что этот корреспондент так быстро раскололся, потому что он вообще не представлял такой возможности, что он может сесть...

В семьдесят пятом или в семьдесят шестом нас вызывали всех в КГБ и предупреждали. Они говорили, что достаточно нажать на кнопку, и будет дело, тюрьма, срок... Как-то убедительно говорили!

Я переживаю все очень сильно, и я проиграл для себя эту ситуацию, и несколько дней не мог спокойно жить. Я думал о лагере, о тюрьме, о своем здоровье... А потом, – это очень наивно, но это на самом деле так, – я вспомнил речь адвоката Грузенберга на процессе Бейлиса. Он сказал примерно так: "Здесь, под сенью закона, конечно, тебя не могут осудить: ведь ты невиновен. Но если это все-таки произойдет,

то ты должен понимать, что ты не лучше и не хуже сотен тысяч евреев, которые шли на костер с возгласом "Шма, Исраэль!", и что это может случиться с тобой..."

И я перенес это на себя.

Значит, могут меня осудить.

И утвердился, и приготовился к этому...

— Он плохо знал советскую систему, этот журналист.

Он ничего не понимал...

Хоть и писал о России. Жил в России. Наблюдал и спрашивал.

Это нельзя понять. Это можно только почувствовать. Спинным мозгом, что ли... Генетически.

Мы готовы к посадке. Готовы от рождения. У нас есть историческое ощущение такой возможности. Потому что нас уже сажали. Отцов наших сажали. Или еще посадят...

Мы практики, а этот журналист — теоретик...

— Когда сидишь пятнадцать суток и видишь отношение милиции к тебе и к другим, понимаешь, что ты на особом положении. Значит, пока все идет хорошо. Есть команда...

Мы чувствовали кожей своей: что она может, эта система, в этот момент, а чего она в этот момент не может. У нас не было никаких сомнений: когда они захотят, они сделают. Но пока нет команды, мы никуда не пропадем, с нами ничего просто так, случайно, не произойдет. Потому что мы товар. И за нас отчитываются поголовно.

Не случайно милиция сама разгоняла хулиганов, которые приходили к синагоге бить евреев. Клочья от тех только летели. А не лезь сам. Не своевольничай без команды...

Ситуация чисто фаталистическая. Ты не можешь ее изменить. Дело на тебя уже готово, поэтому тебе бояться нечего. Сегодня ты под защитой КГБ. Сегод-

ня есть команда: не бить! И ты знаешь: сегодня бить нельзя. У них есть, конечно, желание ударить, но нет команды...

Но бывали такие моменты, когда ты, вдруг, чувствовал: ой-ой-ой! – сегодня прошла команда – можно бить!

И они били...

Но это надо чувствовать, все эти тонкости.

Этого со стороны не понять.

Даже корреспонденту крупной зарубежной газеты...

А что тогда говорить о простых туристах?!

– Мне позвонила женщина, туристка, с которой мы уже встречались, и сказала, что приехала ее подруга из Манчестера, и что она в критическом положении. Они ее преследуют, они ее пугают: она сидит в номере и дрожит. "Это смешно, – говорит туристка, – но помогите ей как-нибудь, защитите..." А мы – отказники. Мы только что после допросов, арестов, обысков... Это смешно – но надо защищать.

Мы поехали в гостиницу, взяли ее, привезли домой.

Она вся дрожала...

Мы посидели, поговорили, попили чайку – успокоили.

Когда мы вышли из дома, я увидел, что они проводят демонстративное конвоирование. Они просто шли за ней по пятам. В затылок. Она заходила в телефонную будку, и они залезали туда вместе с ней. Это было, как в кошмарном сне...

Когда мы сели с ней в такси, подошел один из агентов и громко сказал шоферу, чтобы он потише ехал. Чтобы они могли следовать за нами...

Почему они ее выделили?

Не знаю...

– Мне позвонил турист и сказал, что хочет приехать ко мне.

Я говорю: приезжайте.

Нет, говорит, вы за мной зайдите...

Я потом спросил у других. почему это он так? А он боится, говорят. Он один по Москве не ходит...

Честно говоря, я и сам бы боялся... Неизвестность. Страх, что они раздувают. Поезжай, к примеру, к Иди Амину: хоть ты американец-разамериканец, съели тебя – и привет...

Они прямо так и говорили:

– Мы боимся...

– Был один случай...

Когда он ко мне пришел, этот турист, сидели у меня два американских студента. И он стал их приглашать к себе, в Стокгольм. Они говорят: "Конечно, с удовольствием", – и берут его визитную карточку. И я тоже беру. Машинально. Просто так...

Тут он насупился и говорит, – а это было через два дня после обыска:

– У вас же был обыск...

Я говорю:

– Да. Но он уже был...

Он говорит:

– Нет, знаете ли... У меня в Стокгольме двое детей...

Я ему отдал карточку...

Они приходят, озираясь.

В нахлобученных шляпах.

С поднятыми воротниками.

Вид у них явно шпионский. За версту видно.

Если мужчина усатый, можно подумать, что усы фальшивые.

Если женщина в очках, можно предположить, что очки для конспирации.

Они входят в комнату – и сразу, шепотом:

– Где у вас спрятаны микрофоны?

Я плохо понимаю по-английски, но эту фразу я уже выучил наизусть:

– Где у вас спрятаны микрофоны?

– Не знаю, – говорю. – Самому интересно.

Они смеются. Чаще всего, нервно. Или не смеются. Потому что не могут. Шутка ли, куда они забрались! Почти что в Сибирь. В ГУЛАГ. В цепкие лапы агентов тайной полиции.

– Вы думаете, нас подслушивают? – спрашивают они.

– Ничего я не думаю. Мне это безразлично.

– Нам тоже.

И смеются храбрым шепотом...

После этого мы долго разглядываем друг друга и дружелюбно улыбаемся.

Улыбку невозможно подслушать. Улыбка – самая безопасная вещь. Если, конечно, за вами еще и не подглядывают...

Потом мы начинаем разговаривать. На самые общие темы. И шутить. И передавать приветы знакомым. И рассказывать наши последние, как правило, невеселые новости. Кому дали отказ, кого посадили, кого выгнали с работы...

Они всем интересуются. Для этого они и пришли. Они даже записывают кое-что для памяти, нарочно неразборчивым почерком. Они повторяют по много раз, чтобы запомнить наверняка.

Какое счастье, что на таможне еще не научились конфисковывать наши головы!..

Потом они уходят.

Нахлобучивают шляпы, поднимают воротники, прикрывают лица усами и очками.

Они торопятся обратно в гостиницу, чтобы гид не заметил их долгого отсутствия.

Чтобы не сделал замечания.

Чтобы не принял меры, неизвестно какие, но, скорее всего, самые ужасные.

Тюрьма, пытка, допросы с пристрастием...

Они уходят, а я остаюсь. Они прячутся, а мне спрятаться некуда. Да и незачем...

И всякий раз мне хочется сказать на прощанье:

— Милые вы мои! Хорошие! Любимые люди! Ну, чего вы боитесь? Чего?! Если мы тут не боимся, если мы перешагнули через вековой страх, так чего же боитесь вы?

Но я им не говорю этого. Я стесняюсь. Во-первых, не все они такие. Во-вторых, их тоже можно понять.

Это смешно. Это грустно. Это ужасно.

Конечно, их подпугивают. За ними могут и последить. И подслушать. И прицепиться на улице, в гостинице, в таможне. И написать гадость в газете. Например, о том, как они вербуют шпионов. Или подкидывают листовки. Или испражняются посреди номера на ковер.

Фантазии журналистам не занимать...

Ну и пусть их! Пусть пишут, пусть подпугивают. Это входит в их работу. Посеять в туристах неуверенность. Страх. Беспокойство. Отбить охоту к контактам, к посещениям и разговорам.

Свободные люди, чего же вы так боитесь?!
Мы вас очень любим, ценим и уважаем.
Ваша дружба — наша уверенность.
Ваша поддержка — наша безопасность.
И потому — не сдавайте позиций!
Будьте свободными,свободные люди!
Не оставляйте дома свою независимость!
Ваша боязнь — это их торжество.
Ваша запуганность — их безнаказанность.
Ваш страх — их триумф и наша беда.
Шепотом не скажешь главного.
Озираясь, не увидишь основного.
Прячась, не вселишь веру.
Свободные люди, чего же вы так боитесь?!

III

— Когда меня вызывали на допросы на Малую Лубянку, я ждала в приемной по сорок минут, иногда по часу. И как раз в это время приходили восемнад-

цатилетние мальчики и девочки, очень чистенькие, очень аккуратненькие, – как правило, в белых рубашечках, при галстуках, – и приносили свои анкеты. Это же явные топтуны в будущем: кого еще можно сделать из восемнадцатилетних юнцов?.. Как правило, они все присланы по путевке комсомола. Выходил кадровик и разговаривал с ними в той же приемной, где я сидела. Первым делом он спрашивал путевку, потом – анкету... Даже лица у них были похожие. Видимо, тот, кто их отбирает, он делает это на свой вкус, и что их объединяло еще – у них почти не было особых примет, не было никаких запоминающихся лиц. Один раз только за все время я видела рыжего топтуна, которого легко было потом вспомнить. Остальные – на одно лицо...

– Эти мальчики современного, футбольно-кагебешного стиля. Они делают дело за счет ловкости, изворотливости, а не за счет мозгов. Они очень аккуратны. Они снимают свое пальто и кладут всегда одинаково. Они его складывают борт к борту – и левой стороной наверх. Видно, что это пальто сильно начинено и очень дорогое. Не пальто – инвентарь...

– У них даже есть почва для некоторого романтизма, у их молодежи. Сидели мы в отделении милиции, и вот этот здоровый, высокий парень встал, поломал кости, поиграл плечами и говорит, прищурясь:

– Эх! Кольт бы мне сейчас...

– Когда дело доходило до конфликтных ситуаций, одни из них говорили: "Дали бы мне оружие, всех бы убил!", а другие говорили: "Дали бы мне возможность, всех бы отсюда выкинул..." Желание у них есть, команды у них нет...

– С ними ведется большая работа. По тем отрывочным фразам, что они кидали порой, можно было понять, что мы считаемся предателями, шпионами,

что мы получаем массу денег, что мы на содержании у разведок. То-есть, они были нашими врагами: их так воспитали и их так тренировали...

– Когда мы сидели под домашним арестом, принесли телеграмму, что мать моего мужа при смерти, и чтобы он срочно выехал к матери. Они его не выпустили из дома даже позвонить... Когда он пробился силой через восьмерых этих мальчиков с телеграммой в руках, они навалились гурьбой, отвезли в милицию и продержали там десять часов. Он просил позвонить, выяснить – они отказывали... Для такой молодежи это необычная жестокость. Это жестокость особых людей. Мне кажется, их и отбирают с учетом психологических и моральных качеств...

– Все эти полковники, с которыми я разговаривал, они точно такие же. Допрашивал меня как-то следователь Галкин, лет под шестьдесят. Пожилые люди, старший состав – они ведь не изменились со сталинских времен. Когда я ему что-то очень резко ответил, он сказал с сожалением: "В другие времена давно бы уж без зубов был..." И смену они себе готовят такую же.

– Нас отвезли в вытрезвитель № 8, и мы стали требовать, чтобы выпустили беременную женщину из Риги. Но они ее не выпустили. Они держали ее вместе с нами, и целый день не давали ни пить, ни есть – ни крошки... А среди нас была врач. И она очень разозлилась. Она подошла к сотруднику, – симпатичный такой мужик, – и сказала: "Я врач. Я смотрю на вас и думаю: и лицо у вас желтое, и нос у вас острый..." Он страшно озаботился и говорит: "Что такое? Что такое? Что вам не нравится?.." Она говорит: "Видимо, у вас какое-то тяжелое заболевание. Если с вами что-то случится, вы вспомните эту беременную, как вы ее мучали..." И еще она сказала ему: "Я хороший врач. Я никогда не ошибаюсь в

диагнозах". Он ужасно перепугался. Он побледнел и говорит: "Вы же видите, я тоже целый день ничего не ел. А у меня язва..." Потом он ушел, и мы подумали, что он принесет ей поесть. Ничего он не принес... Нас держали там очень долго, выпустили в два часа ночи, а беременную отвезли на вокзал, посадили в жесткий вагон, привезли под конвоем в Ригу и сразу же, – не завезя домой, не позволив даже переодеться, – отправили на пятнадцать суток...

– Это уникальная организация, которая получила право, – в отличие от остальных, – представлять истинное лицо системы. Это организация, которая отдает другим все, что можно сделать легально. Милиция за них много делает. Суды за них много делают. Любое советское учреждение выполняет их поручения, если это надо сделать в соответствии с какой-то легальной процедурой. Или похожей на легальную...

– Они, например, очень презрительно относятся к вам, если вы начинаете говорить про законы. Это не значит, что они такие циники. Они над этим... Это вы, – с их точки зрения, – дурака валяете, вы жулик или циник, вы жонглируете законами... А на самом-то деле как? На самом деле так: виноват ты или не виноват – это они знают. Как они решат, так и будет... В соответствии с их "справедливостью"...

– Эта организация – порождение тех времен, и она осталась с тех времен, но сегодняшние условия немножко сковывают возможности, инициативу, и им это мешает... Вот это – "Мне бы кольт!" – это все тоска подкорки. То-есть, здоровенный боксер должен носить какую-то балетную пелеринку. Он думает: на хрена это нужно? Врезал бы, да и все...

– Мы стояли там долго и не расходились, и тогда они начали нас потихоньку теснить с кладбища. Кто-то, забывшись, скомандовал: "Расходи-сь!" – но

осекся, вероятно, вспомнив инструкцию. И вдруг из шеренги милиции раздался почти жалобный голос: "Ну, расходитесь же, граждане, имейте совесть! Вы только пришли, а мы здесь с четырех утра стоим!"

– Мне не было его жалко. Мне было удивительно, что такой симпатичный человек занимается такими нелепыми делами. Он был среднего возраста, по виду – не очень здоровый. Ходил за мной и ходил... Как-то мне надоело это, и я помчался по лестнице вниз, через две ступени. Он бежит сзади, задыхается, хватается за сердце... Я подумал: жалко его по-человечески. Чего я от него бегаю?.. А потом не выдержал – опять побежал. И тогда они подошли ко мне вдвоем и тихо так, спокойно сказали: "Ты не хочешь, чтобы тебе ногу сломали?" "Не хочу", – говорю. "Так не бегай..."

– Когда я сидела под домашним арестом, этот Олег Николаевич, такой арийский красавец, позвонил часов в десять вечера и спросил, нет ли у меня чего-нибудь от головной боли. Ну, я им вынесла по таблетке, ему и милиционеру, а потом чаем поила на лестнице. Потом просвещать стала. Дала ему книжку про народников и про третье отделение. Вот, говорю, поучитесь, как они работали. Он прочел с большим интересом...

– Один паренек из всех, кого я видел, показался мне симпатичным. И он ехал рядом со мной, бок о бок: так ему по должности положено. И я решил с ним поговорить... Они очень натренированы и стараются не отвечать, но после нескольких его междометий стало ясно, что он ничего обо мне не знает, абсолютно! Кто я, что я, куда хочу уехать... И про других тоже не знает. И я стал ему рассказывать про евреев, про диссидентов, про Сахарова, – какой это святой человек... И он с интересом слушал. Потом я спросил: "Не будет нагоняя от начальства?" Он го-

ворит тихо: "Не знаю..." На другой день его не было...

– Был еще один, неприятный такой. Белокурая бестия. Фашист. Один раз я шел быстро-быстро, – я умею быстро ходить, – так на другой день он подошел ко мне и говорит: "Вы сегодня не торопитесь, Вениамин Моисеевич?" Я говорю: "Нет, а что?" "Вот сердце у меня болит... Бежать за вами не могу". Ну, я пошел помедленнее... А мне было интересно увидеть номер машины, которая за мной ездила. А они почему-то скрывали это... Какие-то у них дурацкие правила игры... И я вижу, что машина стоит за другими машинами, резко разворачиваюсь и успеваю заметить номер. Я вынул ручку, чтобы записать, а он подошел ко мне и так это зло говорит: "Сейчас же положи ручку, а то будет тебе финиш..." Я положил ручку, зашел в подъезд и там все записал... А потом подумал: чего это он мне грозит? Пожалуюсь-ка я на него его же начальству... Оказалось, что в Москве дозвониться до КГБ проще простого. В два касания я это сделал. Позвонил в милицию, сказал, что мне нужно КГБ. Какой район? Сказал район. Минуточку, – и дал номер телефона... Звоню, рассказываю про слежку. Ходите, говорю, если вам положено, но ведите себя вежливо. Он все выслушал и сказал, что за мной никакой слежки нет. На другой день этого человека не было. И больше никогда не было...

– Мы сидели в милиции, в "ленинской комнате", и завели с ним разговор. За жизнь: о том, о сем... И как-то мы к нему расположились, и он, вроде, расположился к нам. Но тут кто-то сказал фразу на иврите... Как он подскочит! "Прекратите разговоры на иностранных языках!" И сразу стало видно, что вся его расслабленность – это сплошное притворство. Он работал. Он все время работал. И по его окрику стало понятно, что если будет сейчас команда стрелять – он расстреляет. Каждый из них – по своей

должности – он будет в тебя стрелять. По должности он твой враг. И это надо всегда помнить: он – враг...

– С ними вообще нельзя разговаривать. Ни о чем. Ты можешь своими беседами – самыми безобидными – создать у них надежду, что уже наклевывается. Так ты для них никто. Ты для них враг народа. Им плевать вообще на тебя. Они с тобой поговорили и записали: "неконтактен"... Но если они запишут, что наклевывается, это войдет в план. Ты, конечно, в конце концов откажешься, но тогда ты станешь их личным врагом. А это другое дело... Я рассматриваю это и с чисто бюрократических позиций. Если перед тобой поставили галочку; то пока ее не снимут, – хрен ты от них вырвешься. У них есть, наверно, план по вербовке... Все. Ты попался. И поэтому я всем говорю: "Не надо. Ты же не дома. Чего ты с ними разговариваешь?.."

– Это дьявол – улавливатель душ. Дьявол, который витает над землей и видит червоточинку, через которую можно проникнуть в человека. Та же самая модель... Когда ты начинаешь с ними разговаривать, они тянут тебя на новые разговоры. Как паук: хоть одной паутинкой прилепиться к тебе, – пусть пока будет. А там, глядишь, вторая, третья... А там – куда ты от них денешься? Всякому видно, что ты прилип...

– Для меня это не люди. Мне их совершенно не жалко... Один раз мы с мужем поехали в лес, за грибами, и за нами увязалось восемь молодцов. Было очень холодно, проливной дождь, но у нас было много еды, термос с кофе... И вот они стояли вокруг нас, – мы сидели и ели на бревнышке, под зонтиком, – а восемь молодых ребят стояли вокруг и глядели, как мы едим, и нюхали запах горячего кофе. И я вижу, что у одного из них вообще рваные ботинки... Я сначала испугалась, – я испугалась своего чувства жалости, – но потом я вспомнила, как они не

позволили моему мужу позвонить, когда его мать была при смерти, как они дали пятнадцать суток беременной женщине из Риги... Мне было много чего вспомнить, когда я их видела в лесу, под дождем, в рваных ботинках. И я спокойно ела, мне было их ни капли не жалко...

IV

Можно спросить: когда это началось?

Можно ответить: а когда это кончалось?..

Глубоко, в недрах, в тайниках, запрятанное от посторонних глаз, – вечно существовало это желание – выделить себя, понять себя, ощутить свое место, – и прорывалось оно порой тихими, негласными судебными процессами над сионистами, и проявлялось оно порой хитрыми, изворотливыми способами наиболее решительных, что уезжали сначала в Польшу, а оттуда уже в Израиль..., – но открыто, массово, наперекор властям оно проявилось совсем недавно, лет десять тому назад...

Испуганные – сбрасывали с себя паутину страха.

Замордованные – учились сызнова держать гордо голову.

Затравленные – вставали во весь рост, распрямляя покатые спины.

И главным для всех было, и главным для всех осталось – преодоление страха. Страха, который прилипчив. Который передается от отца к сыну. Который прививали и насаждали прежде. Который прививают и насаждают теперь. И уже казалось одно время, что страх – он у нас в генах, что заражены им навсегда, навечно, и не избавиться от него никогда. И тем удивительнее события этих лет. Тем удивительнее результаты...

И вот вам отрывки из писем, что писали евреи по всем адресам мира в надежде на помощь, защиту,

сочувствие или сострадание. Вот вам — преодоление страха: из года в год, от письма к письму...

"Всем известно, как справедливо осуществляется на деле национальная политика в СССР, теоретические основы которой сформулированы еще основателем государства В. И. Лениным. Давным-давно в стране нет еврейских погромов, черты оседлости и процентной нормы. Евреи могут ходить по улицам, не опасаясь за свою жизнь, поселяться, где хотят, занимать любую должность вплоть до поста министра, что видно на примере В. Дымшица, заместителя председателя Совета министров СССР. В Верховном Совете есть даже депутат-еврей — А. Чаковский, главный редактор "Литературной газеты"...

"Мы понимаем: наши скорбные лица могут несколько омрачить праздничное настроение советских людей, которые готовятся отметить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, заложившего основы национальной политики СССР. Но у нас нет выхода..."

"Мы знаем, что известный интернационалист-ленинец В. Гомулка широко открывает границы для всех евреев, желающих выехать из Польши; этим он выполняет свой долг коммуниста. Итак, прецеденты есть. В чем же дело?.."

"Мы не выступаем от имени всех евреев СССР, мы не требуем возвращения в Израиль всех евреев СССР..."

"Мы верим, что вернемся в Израиль. В этом убеждает нас ленинское положение о праве наций на самоопределение, лежащее в основе национальной политики СССР, и заявления официальных лиц, в частности, А. Н. Косыгина (Париж, 3 декабря 1966 года)..."

"Мы просим немногого — отпустить нас в землю предков..."

Но вот проходит время, малое время, — месяцы — не годы, — а шаг уже сделан, первый шаг к преодолению страха, и дальше уже не так боязно, дальше

уже не так боязно, дальше уже невозможно жить по-прежнему и писать по-прежнему.

И как удивительно это освобождение, как оно прекрасно и заразительно для окружающих. И тут уже зависит от тебя самого, как быстро ты пройдешь все этапы на пути к внутренней свободе. И ты будто прозреваешь, ты начинаешь видеть вокруг себя несвободных людей, и поражаешься их забитости, их замордованности. А ведь они — это ты вчерашний... Это ты до первого твоего шага к самому себе...

"Граждане депутаты! История ставит вас ныне перед выбором, и у вас только две возможности: либо вы отпустите нас с миром, либо вам придется ступить на проторенный путь массовых репрессий. Потому что, пока мы есть, мы будем, — с каждым днем все громче, — требовать свободы выезда, и наш голос станет для вас нестерпимым..."

"Когда-то, в тяжелые времена, мы по наивности надеялись на "наших евреев" — кагановичей, эренбургов и пр. Теперь мы ни на кого не надеемся, кроме себя, и в этом — залог существования еврейского народа..."

"Насколько же жалки вы, кричащие: "Какое счастье — нет погромов!" А были бы погромы, вас бы умиляло, что не каждый день; а если бы каждый — что не вас бьют; а били бы — что не до смерти; а до смерти — что не сразу..."

"Но ведь я не крепостной! Я могу сам решить, чьим пушечным мясом мне быть!.."

"Позвольте мне самому решать, какое государство, а не какая "область", является моей Родиной..."

"Прошу вывести меня из состава Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи в связи с тем, что я... — не считаю себя "человеком советской страны", не "признаю устава ВЛКСМ", не "участвую в строительстве коммунизма", не "работаю в одной из комсомольских организаций", не "выполняю решения комсомола" и не "уплачиваю членские взносы". Кроме того, я не "считаю для себя

величайшей честью стать членом Коммунистической партии"...

"Мы, потомки истерзанных поколений, не просим, а требуем, твердо и решительно требуем одного – справедливости и чувства ответственности за судьбу современного еврейского народа..."

И под этими – последними – словами – почти сто подписей. Гордо и открыто. Фамилия, имя, полный почтовый адрес...

V

Итак, у меня отключили телефон!

Я спал глубоким сном невинного младенца, а в это время какой-то безымянный монтер поорудовал над какими-то клеммами, и с телефоном было покончено. Быстро и решительно.

Он даже не пикнул...

Как мне сказали сначала – за неуплату.

Как мне сказали чуть попозже – за нарушение статьи телефонного устава.

Как мне сказали наконец – за хулиганство.

– За чье хулиганство? – спросил я. – Мое или телефона?

Мне не ответили...

Итак, у меня отключили телефон.

До этого они отключили меня от всех редакций.

Они отключили меня от издательств и киностудий.

Они отключили меня от моих фильмов, вырезав из титров мою фамилию.

И от советских денежных знаков они меня тоже отключили.

Что же им осталось?

Могу подсказать.

Отключите от меня электричество.

Отключите водопровод и канализацию.

Отключите почтовую службу, скорую помощь и пожарную команду.

Отключите меня от всех благ цивилизации.

Отбросьте меня в каменный век, в пещеру, к троглодитам... И я с удовольствием там останусь. Потому что там ничего еще не изобрели, и им пока нечего отключать.

Отключите меня, отключите!..

Я от вас давно отключился.

Страница шестая

ЧТО ЖЕ У НАС ПРОИСХОДИТ, ГРАЖДАНЕ?

"В сорок восьмом году я приехал в Москву учиться, и кроме того у меня было твердое намерение изучить иврит.

Я пошел в Ленинскую библиотеку, порылся в каталоге и к своей радости нашел книгу – самоучитель иврита. Я взял эту книгу и начал ее просто переписывать. Каждый день. По одной главе. Переписывал я примерно полторы недели, и через полторы недели эта книга пропала. Мне ее больше не выдали.

Я пошел в библиографический отдел. Там сидел еврей, и он мне сказал, что книгу я больше не получу, но что он, может быть, будет меня учить.

Я очень обрадовался. У него был настоящий иврит... На другой день, когда я к нему пришел, он сказал – нет.

И тогда я решил: в таком случае буду изучать идиш.

Я пошел в редакцию "Дер Эмес", и мне сказали: "Очень хорошо, молодой человек! Очень похвально! Мы вам дадим книгу, учебники. Приходите через месяц, мы все подберем".

Я пришел через месяц. Там был очень странный вид, в этой редакции, будто только что после погрома. Сидела там вахтерша, старая еврейка, и она мне сказала: "Ой! Вы разве не знаете? Всех же арестовали..."

Тогда я стал ходить в еврейский театр, который еще существовал. Просто мне хотелось быть в аудитории, где одни ев-

реи, — что для меня само по себе было интересно, — и кроме того было интересно слушать язык, музыку...

Это продолжалось месяца три, по-моему. Я ходил регулярно. И театр тоже закрыли..."

Я купил эту энциклопедию в одной еврейской семье.

Я долго за ней охотился...

Вот они стоят у меня на полке, шестнадцать одинаковых томов, шестнадцать томов густого, темнокоричневого цвета, с золотым тиснением на переплете. И в каждом из них написано: "Еврейская энциклопедия выходит в двух изданиях. Одно издание на обыкновенной бумаге в прочном переплете, цена 60 рублей. Другое издание на веленевой бумаге, в роскошном кожаном переплете, цена 100 рублей. Адрес конторы: Санкт-Петербург, Прачешный переулок 6".

И вот я представляю себе, что живем мы в начале этого века. Мы пишем по адресу конторы — Прачешный переулок, дом 6 — и нам высылают тома еврейской энциклопедии, один за одним. Хочешь — на обыкновенной бумаге. Хочешь — в роскошном кожаном переплете. Только напиши, попроси, и будут стоять на твоей книжной полке шестнадцать томов густого, темнокоричневого цвета...

Больше того: живи мы в начале этого века, мы могли бы выписывать газеты, журналы, исторические сборники, семейные библиотеки, и все это о евреях, все это издавалось для евреев. "Рассвет", "Сион", "День", "Русский еврей", "Восход", "Будущность", "Возрождение", "Наше слово", "Еврейский голос", "Еврейский мир", "Еврейские известия", "Еврейская старина" и так далее, и так далее... Одни из этих изданий жили годами, другие умирали, едва появившись, но они были, они могли быть — и это самое главное.

Сегодня, в России, невозможно поверить в подобное!

И не надо нам на веленевой бумаге в роскошном кожаном переплете. Мы бы обошлись обычной бумагой. Мы бы обошлись самой плохой бумагой, серой, с опилками – мы люди не гордые...

Я купил эту энциклопедию в одной еврейской семье.

Я долго за ней охотился...

Она лежала у них на антресолях, в коридоре, новенькая, чистенькая, аккуратно обернутая в плотную бумагу, будто только что из типографии, из Санкт-Петербурга, Прачешный переулок, дом 6.

Я пришел к ним, и меня сразу окружила вся семья: папа-инженер, мама-врач, двое детей-школьников. У них было чисто, аккуратно, с первого взгляда – нормальный достаток. Еще я подметил тогда, что вся семья была одинаково кругленькая, толстенькая, большеглазая, с оттопыренными ушами.

– Зачем продаете? – спросил я, портя себе коммерцию. – Неужто не жалко?

– Деньги нужны, – ответил папа.

– Хотим поменять телевизор, – ответила мама.

– На цветной, – ответили дети-школьники.

И вот я подумал тогда: кто же будет нас судить? Кто, где и когда? Нас, евреев, ленивых и нелюбопытных, что меняют свое первородство на цветной телевизор.

Будто мало нам телевизора черно-белого.

Будто обязательно надо, чтобы вся эта лавина лжи и пошлости, что валится с экрана, непременно была в цвете...

А ведь кто-то ее читал, эту еврейскую энциклопедию, в этой еврейской семье. Кто-то переплетал, подчеркивал, ставил закладки по страницам.

Может, потому, что не было тогда телевизора?

Может, по другой причине?..

Когда-то я ходил в библиотеку и листал там еврейскую энциклопедию.

В больших библиотеках она стояла в открытом доступе, рядом с другими энциклопедиями: подходи и бери. Потом она перешла на самую нижнюю полку, у пола, где не всякий и заметит. Потом ушла во второй ряд книг, где не заметит уже никто. Потом сгинула в спецхранении, где выдавали далеко не каждому, а только со справкой с места работы, что требуется она для определенных научных исследований.

Потом, когда евреи стали уезжать из России, на нее ввели огромную пошлину.

Потом запретили к вывозу совсем...

Вот они стоят у меня, все шестнадцать томов, чудом уцелевшие за бурные десятилетия, чудом не пропавшие на обысках, чудом не попавшие в утиль: сколько старых книг перетаскали туда! Но самое главное: этого издания вообще могло не быть. Это счастье, что во-время начали ее выпускать, в 1906 году. Счастье, что во-время закончили — в 1913-ом. Начни они чуть попозже, на три-пять лет, и не было бы полного издания. Как нет теперь полной энциклопедии Граната. Как нет второго издания русской энциклопедии Брокгауза и Ефрона. С семнадцатого года все оборвалось — как не было, а еврейскую энциклопедию успели выпустить предусмотрительные издатели. Будто чувствовали, что скоро все закончится, и поторопились, завершили, разослали подписчикам...

И вот я купил ее целиком, в этой благополучной еврейской семье, где для полного счастья нехватало одного лишь цветного телевизора.

Может, потому они и были большеглазые, чтобы ничего не упустить с голубого экрана?

Может, потому и были они с оттопыренными ушами?..

Один мой знакомый однажды сумел попасть в туристскую группу, которая поехала из России в Италию. Они были там семь дней — галопом по городам и музеям. Он не спал почти совсем — жаль было время. Он похудел и осунулся: все дни бегом, чтобы увидеть побольше. Он знал, что вряд ли сумеет еще

раз побывать в Италии... "Их надо судить, – сказал он мне по приезде. – Тех, кто лишил нас возможности увидеть мир. За одно за это их надо судить".

И он прав... Мир, огромный мир, интересный мир, что самолетами можно облететь за считанные часы, они сделали недоступным, запретным, отсутствующим миром. За это, конечно, надо судить...

Но как же строго надо судить нас, ленивых и нелюбопытных, когда мы сами себе закрываем мир?

И кто будет судить нас?

И когда?..

Есть особый способ выращивания овощей. Когда семена сажают не в землю – в специальный питательный раствор. Для получения удивительных результатов...

Вот такие и мы, евреи. Нас оторвали от земли, от корней наших, нас насильственно пересадили на особый идеологический раствор, и получились удивительные результаты, и полезли, вдруг, диковинные растения с несуразными плодами, появились евреи-мутанты. У которых нет прошлого. У которых сомнительное настоящее и запланированное будущее.

Живут в России евреи, которым не надо их еврейство. Живут в России евреи, которым уготовано растворение. Живут в России евреи, которые и не евреи вовсе, и только графа в паспорте, да нос с горбинкой, да излишняя картавость временно мешают запланированному исчезновению.

Но в этой, казалось бы, продуманной схеме, в этой торжествующей мелодии с барабанами и литаврами, прозвучали, вдруг, голоса, которые стали чего-то требовать, которых уже не устраивает искусственный питательный раствор, а нужна земля, почва, чтобы пустить корни, чтобы своими корнями сомкнуться с теми, старыми, что уходят глубоко, в века и поколения...

Учат сегодня иврит – евреи.

Зачитывают до дыр редкие книги – евреи.

Переписывают песни с магнитофона на магнитофон – евреи.

Справляют праздники – тоже евреи.

Думают. Спорят. Размышляют вслух.

Чтобы понять себя.

Чтобы узнать себя.

Чтобы познакомиться с самим собой...

"Мы узнали, что в Москве будет симпозиум по еврейской культуре. Состояние и перспективы. Мы решили поехать в Москву. На симпозиум...

В Термезе входят в вагон четыре автоматчика:

– Ваши документы!

Четыре автоматчика – это такой конвой, когда ловят особо опасных преступников. Шпионов с афганской границы. Только тогда такой конвой, четыре автоматчика...

А тут еще майор-пограничник. Дежурный по станции с помощником. Двое в штатском...

– Ваши документы!

Сняли нас с поезда, ведут по перрону: два автоматчика спереди, два сзади. Майор. Дежурный с помощником. Двое в штатском...

Ведут нас по перрону, а проводники кричат друг другу:

– О! Афганцев поймали! Афганцев!..

Я говорю брату:

– Все! Пропали...

Приводят нас в милицию, обыскивают... Сколько обысков было потом и раньше – это только внешний осмотр, а тут они искали везде – в складках, в швах, за подкладкой...

Четыре автоматчика. Майор-пограничник. Дежурный по станции. Двое в штатском...

Утром нас посадили в поезд, под конвоем повезли в Душанбе, в спецраспределитель. А там – оборванцы, бродяги без паспорта, уголовники... Следователь посмотрел на нас и говорит:

– Как это такие приличные парни попали сюда?

И еще говорит:

– Вот те на! Никогда евреев не было тут. Первый раз евреи в спецраспределителе...

Так мы съездили в Москву. На симпозиум по еврейской культуре. Состояние и перспективы...”

Граждане, что же у нас происходит?

Что происходит у нас, граждане хорошие?!..

Собрались евреи, почесали свои затылки и решили: а не поговорить ли нам о культуре? Как она, что она, зачем она и сколько ее приходится на душу еврейского населения?..

А приходится ее, культуры, очень мало. Можно сказать – совсем не приходится. По отсутствию этой культуры на душу населения наши евреи давно уже обогнали все недоразвитые пока страны, включая племена папуасов, пигмеев и оранжевых карликов. (Я, правда, не уверен, существуют ли на свете оранжевые карлики, но если они все-таки существуют, то с культурой у них дела обстоят значительно лучше. Ведь у них есть наскальная живопись, а у нас, у евреев, и того нет...)

Так что говорить, вроде бы, и не о чем. О чем говорить, когда не о чем говорить? Языка нет. Учебников нет. Книг нет. Истории нет. Театра нет. Религии нет. Обычаев нет. Рыбы фаршированной, и то нет...

А есть пока что одни евреи, которых тоже, вроде бы, и нет.

И собираться нечего, и обсуждать глупо. И эти ваши сим-по-зи-умы (тьфу, черт, и не выговоришь!) – дело пустое, бессмысленное, вредное...

А евреи упорствуют. Евреи желают непременно собраться. Не выпить, не закусить, а поговорить о культуре. Этих евреев хлебом не корми, только дай языком почесать.

И вот!..

И вдруг!..

Обыски! Допросы! Слежки! Угрозы!

Кар-раул!!

Граждане начальство, за что?! Ведь мы – только поговорить, только обсудить, только предложить кое-что. Скромно и ненавязчиво.

А они за новые обыски, за новые допросы. Забирают книги по истории евреев, которых и так мало. Забирают пленки с еврейскими песнями, которых никто еще не слышал. Учебники иврита забирают – незачем вам иврит. Словари забирают – обойдетесь. Библии, календари, справочники – в мешок. Пишущие машинки, магнитофоны – туда же...

Зачем вам, евреи, магнитофоны, если пленки все равно забрали?

Посуду, правда, не берут. Белье – тоже. И выходные костюмы с галстуками.

А это уже упущение, явная недальновидность...

В посуде можно приготовить национальное еврейское блюдо. На постельном белье можно зачать еврейского ребенка. В выходном костюме и галстуке можно пойти в синагогу...

Ну и упрямые эти евреи, настырные и несговорчивые! Нет, чтобы договориться, прийти к мирному согласию...

Спросим себя: что такое культура?

Ответим: культура – это когда моют ноги.

Спросим себя: что такое еврейская культура?

Еврейская культура — это когда моют еврейские ноги.

И все?!

И все. И достаточно с вас.

А если...?

Нет.

А может...?

Никогда.

А попытаться...?

Кому сказано!

И снова за обыски! Снова за допросы!

Кто тут шибко культурный? А ну, разойдись!

Эх, граждане, граждане! Что же у нас происходит, граждане хорошие?..

> "Я опечалена судьбой Иосифа — своего первого учителя, удовлетворившего мои самые первые запросы к узнаванию языка моего народа..."

— Подсудимый, встаньте и назовите вашу фамилию, имя и отчество.

— Бегун Иосиф Зиселевич.

— Где и когда вы родились?

— 9 июля 1932 года в Москве.

— Вы работаете?

— Я работал и продолжаю работать в тюрьме...

Это было в семьдесят седьмом году.

В мае месяце...

Мы стояли на Яузской набережной, в Москве, напротив иностранной библиотеки, а в обычном, неприметном здании судили нашего друга. Судили за "паразитизм". Судили по статье, по которой обычно судят пьяниц, бродяг и попрошаек.

Нас не пускали внутрь. Сына его не пускали внутрь. Родственников. Только особо приглашенных. Только специально выделенных и проверенных.

И мы не удивлялись. Так оно было не в первый раз. Так оно было всегда.

> ”...частная практика по преподаванию иврита не допускается”.
>
> ”...частное преподавание иврита запрещено...”
>
> ”...преподавание указанного предмета является запрещенной деятельностью”.
>
> Из официальных писем.

Такого еще не бывало!

Нет, не бывало еще такого в истории российского еврейства.

Всякое случалось, а такое, вроде, нет.

Смутно, намеком, слабым воспоминанием в памяти престарелых отцов наших мелькает нечто подобное, но мы, теперешние, этого не знаем. Откуда нам знать, нам, российским евреям, с нашей историей незаписанной, с нашей традицией оборванной, с нашей забывчивостью невероятной?

Откуда нам это знать?!

Наша история — это память наша. Зыбкая и ненадежная.

До первого склероза.

До первого приказа.

До первого испуга...

На нашей памяти такого еще не бывало.

Не было такого на нашей куцей, обгрызанной памяти!

Сегодня...

...в Москве...

...в народном суде...

...судят язык иврит!

На скамью подсудимых не посадишь существительные с глаголами, суффиксы с приставками.

На скамье подсудимых – Иосиф Бегун.

Инженер. Преподаватель. Кандидат наук. Шесть лет в отказе. Шесть лет без работы. Был сторожем – уво-

лили. Подсобным рабочим – тоже уволили. Средства к существованию – преподавание языка иврит.

Так за что же судят его?!

За паразитический образ жизни.

9 часов 30 минут утра.

Милиция. Агенты в штатском. Патрульные машины.

Стоим у дверей суда, стоим и ждем. Друзья стоят, ученики стоят, сын...

Суд еще закрыт, но в двери уже проскальзывают "свои" люди. По одному. Разно одетые, разно обутые, разно причесанные – с одинаково безразличными глазами. Торопятся занять места в зале...

10 часов утра.

Открываются двери, но нас не пускают. Ни друзей, ни учеников, ни сына...

Зал уже полон. В зале сидят "представители трудящихся". Где мы их только не встречали, этих "представителей"? У синагоги – они. На демонстрациях наших – они. У домов наших – тоже они. С фотокамерами, с магнитофонами, со всякой прочей техникой...

Если бы сами трудящиеся хоть один раз могли увидеть своих "представителей"!

Встать! Суд идет.

Кого же увидит Бегун на суде?

К кому обратится за сочувствием и справедливостью?

Кто выслушает его и поймет?

Безразличные глаза.

Безразличные глаза...

Все шесть лет он просил, чтобы его официально зарегистрировали как преподавателя. Все шесть лет он предлагал платить налоги, как это делают тысячи других. Но ему постоянно отказывали.

И не только ему...

На улицах Москвы висят объявления: "Преподаю физику", "Преподаю математику", "Преподаю английский". Нет только объявления о языке иврит.

Это удалось один только раз, после тяжелой баталии – повесить такое объявление. Пробили однажды стенку, упорством своим и упрямством. Но зарегистрироваться все равно невозможно. И заплатить налоги. И получить официальное право на преподавание.

Почему это?

А потому! Чтобы не учили. Чтобы не учились. Чтобы оставалась у властей вечная возможность осудить за паразитический образ жизни...

11 часов утра.

Заседание продолжается.

Судят язык иврит.

Судят причастия и глаголы, спряжения и синтаксис.

Судят Иосифа Бегуна.

Подсудимый сидит в тюрьме уже два с половиной месяца, из них большее время – в голодовке протеста.

Неужели настолько опасен этот человек, что нельзя ему до суда ходить на свободе?

Неужели настолько опасен этот язык, что нельзя учить его и преподавать, читать на нем и говорить?

Повесь сегодня объявление, что желаешь обучать французскому языку, китайскому, кхмерскому, суахили – пожалуйста!

Предложи сегодня научить всякого желающего языку давно вымершей народности – и ты уважаемый член общества!

А иврит – нельзя.

Может, нету на свете такого языка?

А это уже суд решит: есть или нет...

12 часов дня.

Заседание переносится на другой день...

И опять мы стоим у дверей суда, стоим – ждем. Друзья, ученики, сын...

Милиция десятками, агенты дюжинами, два подполковника, офицеры, некто в штатском из черной "Волги"... Проводится серьезная "операция": посадка Бегуна в "воронок".

Нас оттесняют плечами. Машину подгоняют вплотную, дверь к двери. Проталкивают Бегуна быстро, грубо, пинком в спину... Как бандита, вора или убийцу.

– Папа! – кричит сын. – Папа...

– Шалом, Йосеф! – кричим мы. – Шалом!

А вокруг мечутся штатские, вокруг насупилась милиция, негодуют вокруг "представители трудящихся". Это что еще за "шалом" за такой? Это что еще за "Йосеф"? Подождали бы до решения суда, а потом и кричали. А пока нету решения, значит нету слов таких, нет языка такого...

А если и был когда-то, то временно отменяется. До нового заседания.

А может, и насовсем...

А мы стоим.

Мы хмуримся.

Мы печалимся.

Мы плачем и улыбаемся.

* יש עברית!
יש שפה יהודית!
יש ולעולם תהיה!
למזלנו, זה לא תלוי בשום בית-משפט!

"Он преподавал иврит хорошо, с доброй душой, не жалея для урока времени..."

"Я помню, как мы с женой впервые были в доме Иосифа на пасху, и после тридцатилетнего перерыва я снова увидел на столе бокал Ильи-пророка..."

"Дед Иосифа был известным переписчиком Торы. Портрет деда – в тра-

* Есть иврит.
Есть еврейский язык.
Есть – и будет вечно.
К счастью, это не зависит ни от каких судов!

диционной фуражке и с длинной бородой — висел в комнате Бегуна. Этот портрет был свидетелем, которого не отметили ни в одном милицейском протоколе, когда снова и снова во время обысков отнимали у Иосифа книги по еврейской истории, по еврейской культуре, по еврейской социологии...”

Потом был еще один суд.

На шестьдесят пятый день его голодовки.

Прокурор требовал, свидетели путались, судья нервничал и перебивал подсудимого, заседатели поддакивали, защитника никто не слушал.

”Представители трудящихся” сидели безразличные, во время перерыва читали газеты, книги, явно скучали. Лишь изредка, будто по команде, разыгрывали возмущение против ”тунеядца” Бегуна. Когда суд удалился на совещание, сотрудники КГБ, не стесняясь, входили и выходили из кабинета судьи на глазах у посетителей.

Бегун получил два года ссылки...

Его отправили в Магаданскую область, в Сусуманский район, в поселок Буркандья — за тысячи километров от Москвы.

Мы писали ему туда — письма и телеграммы, и оттуда он прислал мне телеграмму на прощанье: ”Дерех Цлаха. Шалом у враха”. Счастливого пути. Мир и благословение.

Я уехал в Израиль, а он сидел в ссылке, работал электриком на руднике — инженер, преподаватель, кандидат технических наук.

Я увез с собой его фото, первое фото из Магаданского края: строгие, просветленные глаза, твердый взгляд настрадавшегося, убежденного в правоте человека.

И еще он писал, что чувствует себя духовно устойчиво, осмысленно и уверенно.

И оттуда он посылал письма в ООН, протестуя против дискриминации языка иврит.

А на это тоже нужно мужество. Там, в Магаданской области, в Сусуманском районе, в поселке Буркандья, где какой-нибудь лейтенант охраны — царь, бог и начальник, от которого зависит твоя жизнь...

> "Я не желаю добровольно ассимилироваться. Я не желаю быть жертвой незаконных преследований. Я требую разрешить мне уехать в Израиль..."
>
> И. Бегун, письмо из тюрьмы

Потом его отпустили...

Его отпустили весной семьдесят восьмого года, засчитав, как оно и положено по закону, каждый день тюрьмы за три дня ссылки.

Он приехал в Москву, к жене, но там его не прописывали. Они не давали ему права жить дома. Жить в семье. Они гнали его за сто первый километр от столицы, где никто не хотел брать его на работу. Нет работы — нет жилья. Нет жилья — нет прописки и работы.

Замкнутый круг. Обычный замкнутый круг, из которого один путь — обратно в тюрьму.

Его арестовали через пару месяцев после освобождения. В Москве. За нарушение "паспортного режима".

Режим... Слово-то какое! Принудительный режим. Режим содержания под стражей. Паспортный режим...

Будто и на воле — неволя.

Будто и на воле — вечный режим заключения...

И опять он сидел в тюрьме. Опять ждал суда. Опять объявил голодовку.

И снова друзей не пускали внутрь. Снова зал суда был забит специально выделенными и проверенными...

Прокурор требовал, свидетели путались, судья

перебивал больного, истощенного голодовками подсудимого, присяжные поддакивали...

Бегун получил три года ссылки...

И опять он в Магаданской области, в Сусуманском районе – Иосиф Бегун, инженер, кандидат наук, преподаватель языка иврит.

Сколько человеку отпущено сил? Сколько здоровья, мужества и оптимизма?

Что движет им?

Что дает силы?..

"Есть в мире великая сила, – говорил Бялик, – и имя ей – тоска. Она переносит человека через тысячи миль, заставляет расступиться моря и пустыни, чтобы смог прикоснуться он к желанному идеалу, хоть один миг поглядеть на любимый образ, почуять его запах, увидеть тень его. Такое чувство национальной тоски... сможет лишь пробудиться под воздействием единого национального языка... Так будем же хранить нашу душу. Наш язык – язык души нашей!"

Страница седьмая

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ

Мой дорогой мальчик!

Я обещала написать тебе личное письмо и набралась духа сделать это.

Я понимаю, как много разных обязанностей ложится на тебя с переходом в новый период твоей жизни – возмужания и становления мужчиной. Я представляю, как много говорят тебе об этом родители и воспитатели.

Давай поговорим о другом. Какие радости может принести тебе это прекрасное и удивительное время в жизни каждого человека.

Я думаю, что вся жизнь в возрасте старше тринадцати лет и до полного становления мужчиной окрашивается удивительной и неиссякаемой жаждой жизни, жаждой впечатлений всякого рода. Пока человек еще дитя, он находится в каком-то полусонном состоянии, и многое проходит мимо сознания, мимо чувств. Но теперь все необыкновенно интересно, все запоминается, все чувствуется и формирует уже полностью личность.

(Я надеюсь, ты хорошо понимаешь, о чем я пишу, ибо ты уже можешь думать и размышлять не только над поступками, но и над мыслями других.)

Теперь, когда ты становишься взрослым, ты можешь и должен разбираться в людях, а для этого необходимо как можно больше общаться с ними и наблюдать, и наблюдать. Только в личных столкновениях рождается настоящее понимание людей, причин и мотивов их поступков.

Не нужно искать в людях плохое, оно лежит на поверхности для каждого умного наблюдателя. Нужно искать хорошее, так как искренне хорошие и честные люди имеют обыкновением не выпячивать эти драгоценные качества, а покрывают их маской и

тайной. Ибо очень честные и добрые люди чрезвычайно часто терпят страдания от жестокости и коварства остальных и прячутся за различными покрывалами. Научись распознавать, что покрывало, а что суть, ибо это крайне важно в жизни.

Не кидайся на шею к любому, кто тебя похвалит, не клюй на удочку лести – она обманчива, осторожно подбирай друзей и помни – лучше быть одному, чем иметь предателя-друга. Стремись иметь друзей, но для этого нужно пробовать, пробовать, пробовать. И какие бы разочарования ни приносили тебе встречи – научись видеть хорошее, и ты будешь вознагражден радостью узнавания людей и характеров, потом, когда будет опыт, когда ты станешь настоящим мужчиной.

И еще я хотела бы, чтобы ты знал, что мужчина не должен без конца молотить языком и расшвыривать между всеми свои чувства и переживания. Учись молчать и молча думать, и ты увидишь, как много интересного ты откроешь в самом себе, если научишься слушать и прислушиваться, и потом понимать самого себя...

Ида Нудель,
из письма к племяннику
на день его бармицвы.

"...Когда я уже был в тюрьме, и прошло пару месяцев, неожиданно я получил открытку от женщины, которая подписалась – Ида.

Я как будто бы этого ожидал. Я ожидал этого бессознательно. Потому что когда я садился, очень многие знали, что я собираюсь отказаться от службы в армии. Мне только исполнилось восемнадцать, я подал заявление о выезде в Израиль, и многие знали, что я пойду скорее в тюрьму, чем в армию. Потому что после армии ты уже не уедешь из России долгие годы, а после тюрьмы...

И вот я получил эту открытку за подписью – Ида.

Я не знал, сколько ей лет. Я не знал, кто она, что она, но по содержанию письма сразу было ясно, что это человек, который тоже хочет уехать в Израиль и который хочет мне помогать.

Это был самый радостный день, пожалуй...

И вот мы начали с ней переписываться, и я стал получать от нее открытки, израильские открытки! Даже когда я был на свободе, я никогда не видел израильские открытки, и первые вещи, которые были сделаны в Израиле, я увидел в тюрьме.

Потом начали приходить телеграммы. Телеграммы из Москвы, в шестьдесят-семьдесят подписей. На Пасху, на Пурим, на день рождения. И это очень поддерживало. В лагере что основное? Основное, это поддержка с воли, это письма. Нужно писать, писать, писать... Но никто здесь этого не понимает. Понять может только тот, кто сидел в лагере, – что означают письма для заключенного. Даже для уголовников. Когда ты получаешь письмо, это для тебя наивысшее счастье в лагере. Выше нет ничего. Уголовники ставят письма выше водки, выше гашиша, выше сигарет и всего остального.

И я получал от нее письма. Много писем...

Самое счастливое время в моей жизни – это вре-

мя, когда я сидел в лагере, когда я добивался разрешения выехать в Израиль. Это очень здорово – добиваться цели, и знать, что кто-то о тебе думает. И если бы не было Иды, навряд ли я смог бы это ощутить..."

"Она меня сама нашла, когда Саша попал в тюрьму. Причем разыскивала довольно долго, потому что я в это время переехала в другой город.

Это меня очень поразило, что чужая женщина заинтересовалась моим сыном. И как он себя чувствует, и как часто пишет письма, и что ему нужно, чем помочь, и в чем я нуждаюсь. Даже мои близкие родственники не особенно тепло ко мне относились в этот период. Они, конечно, сочувствовали, но немножко боялись меня. А Ида... Такая теплота и заинтересованность – меня это очень вначале удивило..."

"...Я получал от Иды много писем. Очень много. Основное, чем я жил, были ее письма. И во многих случаях, когда надо было принять какое-то решение, я советовался с Идой.

Кто у меня был? У меня никого не было. Я жил в окружении уголовников. Имел дело только с уголовниками. Мои друзья были уголовники. Но у нас были разные цели, разные пути в жизни. Не было вокруг ни единого человека, с которым я мог бы посоветоваться. Даже моя мать не могла мне помочь. Я ей давал скорее советы, чем она мне. Поэтому единственным человеком, который мог оценить мою ситуацию и подсказать, была Ида Нудель.

Чтобы выдержать этот срок, мне нужен был такой человек, и она будто это чувствовала, она появилась вовремя...

Ида для меня – наивысший авторитет. На любой мой вопрос, даже несерьезный, она всегда отвечала серьезно. Только поэтому я мог говорить с ней на

любую тему. Я знал, что она никогда не будет смеяться, о чем бы я ни написал...

Ни одно письмо не пропадало бесследно: Ида следила за каждым. Чтобы не оборвалась переписка, которую трудно потом снова наладить. Так же поступал и я. Я писал ей, даже не получая ответа. Я верил, что она пишет, и она верила, что я пишу.

Когда перестали приходить ее письма, я объявил голодовку. Я написал начальнику, что буду голодать, пока не отдадут ее письма.

Я уже знал, что они их изымают, потому что мы их нумеровали. Если за письмом № 5 приходит письмо № 7, значит шестое мне не дали. Я объявил голодовку, и после этого они отдали мне все ее письма и еще самоучитель иврита, который тоже пришел по почте...

Администрация лагеря ее боялась.

Мне это было смешно. Потому что когда я приходил к "оперу", он говорил с раздражением:

– Кто эта женщина? Почему она пишет? Скажи ей, чтобы она больше не писала, не беспокоила людей. Она пишет в ЦК, а я потом должен объясняться...

Мне было смешно...

А Ида, действительно, писала, Ида жаловалась. Она знала, куда писать, чтобы произвести впечатление на администрацию лагеря. В ЦК КПСС, в Президиум, Генеральному прокурору... А "опер" обязан отвечать на каждое письмо, он не может не ответить. И потому он старался, чтобы со мной было нормально, чтобы не было новой ее жалобы, на которую опять надо отвечать. И потому он раздражался и нервничал, что какая-то женщина может влиять на их отношения к заключенному. И ее письма заставляли их соблюдать собственные инструкции, которые они вечно нарушали...

– Кто эта женщина? – кричал "опер". – Чего она вмешивается?..

А я даже не удивлялся.

Я считал, что так и должно быть.

Мы – евреи. У нас одна цель, общая судьба в этом мире.

Мы должны помогать друг другу..."

"Чего только не вытворяли со мной за эти годы!

Меня сажали в тюремный карцер, когда я обращалась в Президиум Верховного Совета; там меня морили голодом и создавали невыносимые условия, меня били и травили, как дикого зверя во время охоты. Меня много раз хватали на улице и бросали в грязные и вонючие подвалы, которые назывались камерами предварительного заключения, и я валялась рядом с преступниками, на грязных полах, вытирая их своим телом.

В моей квартире пробит потолок, и она находится на постоянном прослушивании. Каждое мое слово, каждый мой стон и вздох записываются на магнитофонную пленку.

Но это еще не все – надо мной висит угроза помещения в психиатрическую больницу, и сидя дома или выходя на улицу, я помню, что каждую минуту угроза может быть приведена в исполнение.

Когда же насытятся мои мучители?! Разве еще недостаточно крови выпито в уплату за мое желание жить в Израиле? Совсем недавно меня вызвали в КГБ и совершенно определенно заявили, что перспектива моего выезда в очень далеком будущем.

Доведенная до отчаяния безысходностью своего положения и не имея новых способов выразить свой протест против произвола, я прибегаю к единственно-

му доступному мне способу – я объявляю голодовку".

22.2.74. Москва Ида Нудель.

"Она голодала в тот раз девять суток. У нее были потом боли в сердце, в желудке. Я как раз с ней встретился, когда она кончила голодовку, и она еле-еле ходила."

"...Ида – необыкновенно душевный человек. Тонкий. Чуткий.

Она мне писала:

– Я чувствую тебя по письмам. Когда ты пишешь, я знаю уже, какое у тебя настроение: плохое или хорошее.

И она была права. Она всегда это ощущала...

Как-то у меня случилась неприятность, а я в это время писал ей письмо, самое обычное письмо, и она сразу откликнулась:

– Что у тебя случилось? Что?!...

А еще она верит в сны, да-да!

Однажды ей приснился сон, что со мной что-то произошло. Она тут же позвонила в лагерь, и ей сказали, что в течение десяти дней она не сможет получить со мной свидания. И она поняла, что я в карцере.

Я и был в карцере...

Потом она узнала, что меня отправили на этап. Она ехала за поездом, она догоняла на такси, но не могла догнать. Она даже видела раз, как поезд отошел от станции: всего за минуту. Она очень хотела передать мне еду: это было после "сухой" голодовки – семь дней я не пил и не ел. Это запрещено – передавать еду, но она хотела, она знала, что можно добиться: дать пятнадцать рублей надзирателю...

Так это продолжалось семь суток, потому что меня отправили сначала в одну тюрьму, потом в другую, в третью, а она все догоняла мой поезд – не могла догнать...

Нас привезли в такое место, где мы должны были жить и работать без права выезда оттуда.

Нас привезли автобусами со станции, высадили у пятиэтажного здания, и сразу мы пошли в баню. Больше всего хотелось принять душ после всех этих жутких, вонючих матрацев, на которых спали, наверно, сотни людей, и мертвецы лежали, и кто угодно...

После душа я хотел подняться к себе в комнату, как мне говорят: "Там тебя ждут". Я даже не мог предположить, кто это. Я не знал, кто мог меня ждать там. В незнакомом городе. В первые часы по приезде.

Я выхожу, смотрю – женщина. Поглядел на нее, – у меня была фотография до этого, – и говорю:

– Ида?

Она говорит:

– Да, Ида.

Так она меня догнала..."

"Два дня я пробыл в Москве и видел нестерпимое напряжение, в котором живет эта мужественная женщина. Я увидел стол, заваленный всякого рода заявлениями в советские и партийные инстанции с требованиями прекратить издевательства над заключенными. Письма, обращенные к тем, что оставались в местах "не столь отдаленных". Я услышал взволнованный рассказ о ее жалобах, о заявлениях, о письмах протеста в КГБ. Ее энергия показалась мне непостижимой – один на один с системой: совесть против государственного аппарата...

Мы прощались с Идой у подъезда ее дома в Москве, я обретал свободу и рвал последние путы, которые связывали меня с "самыми гуманными", "самыми демократическими" порядками, а Ида оставалась

там, вдали от родных, от тех, что были обязаны ей своим счастьем, а порой и самой жизнью..."

"...Я выхожу, смотрю – женщина.
– Ида? – говорю.
Она говорит:
– Да, Ида.

Я очень обрадовался, что меня встречают, и сразу она сказала:

– Мы сейчас же пойдем в ресторан. Тебя надо накормить.

Я говорю:

– Нет, Ида. Мне надо сперва купить ботинки, потому что не в чем идти...

Купил я себе ботинки, и пошли мы с ней в ресторан. Я был небритый, лысый, замученный, – прямо с этапа, – в рваном пиджаке, в простых мятых брюках. Правда, в новых ботинках... Вообще-то был очень странный вид, и она сомневалась, пустят ли нас в ресторан.

Она говорила:

– Сейчас мы с тобой поедим. Если нас, конечно, пропустят...

Я говорил:

– С такой женщиной, как вы, обязательно пропустят...

Мы сели за стол...

Сели мы за стол в ресторане, и она взяла мне рыбу. Сказала, что пить я не должен, потому что вечером будет проверка.

– Тебя сразу отправят назад, в лагерь, – сказала она. – Пить мы не будем. Мы должны поесть.

Она взяла мне рыбу, но я на нее даже не смотрел. Я только вышел из лагеря, почти на свободу, я не смотрел на эту рыбу, я говорил, говорил, говорил...

Она мне:

– Ты ешь. Ты поешь сначала...

После этого я ел. И опять говорил. Рыба была

очень вкусная, я хвалил рыбу, и было очень хорошо в ресторане...

Потом, после ресторана, мы сели в автобус и поехали ко мне в общежитие. Она сидела сзади, я сидел спереди. Да, я сидел спереди, я обернулся и с ней разговаривал. Я говорил, по-моему, так громко, что было слышно на весь автобус. Мне было абсолютно на всех плевать. Это было такое... Ну, я вышел на свободу. Мне все были безразличны.

Она просила:

– Слушай, ты давай немножко потише.

А я говорил, говорил, говорил... Я рассказывал ей. Я рассказывал ей про лагерь. Задавал вопросы. Она меня спрашивала. Она слушала. Она просила:

– Говори. Мне очень нравится, как ты говоришь. Я хочу слушать еще...

Потом мы приехали в химгородок...

В химгородке живет три тысячи зеков. Три тысячи, может, даже шесть. Я думаю, что три – наверняка... Мы подошли к общежитию, и Ида сказала:

– Вот и все. Я поеду в Москву, а ты пиши регулярно, звони, я тоже буду звонить.

Она меня проводила до дверей, и так мы с ней расстались в первый раз..."

"Я не собираюсь хаять Россию, я не собираюсь хаять русский народ. Я родилась в России, прожила сорок лет, и от меня нельзя отделить ни мое детство, ни юность, ни зрелость. Я родилась и выросла здесь, я частица этой земли. Но я частица и другой земли, которая является мечтой моего народа – древнего, мудрого, неистового, с мученической судьбой.

Я не буду описывать, как нас травили, жгли, искореняли. Я хочу рассказать о другом, о том, как сейчас, подняв свою голову, мой народ медленно, но верно встает в ряд других народов мира. Нас

еще не все хотят признавать, нас еще не все рады видеть в ряду равных, но мы поднимемся, несмотря ни на что. Ибо у нас нет иного пути.

Со всех стран мира евреи собираются на свою Родину, в свой дом. Раньше я говорила, что нет силы, которая могла бы сдержать наше движение. Но теперь, выстрадав много за годы ожидания, я уже не говорю этих слов. Есть сила, и выстоять против нее иногда выше человеческих возможностей. Вот уже четыре года я прошу визу!

Меня сажали в тюрьму, били, травили, как зверя на охоте, но визу мне не давали. Я не знаю, какой глубокий смысл заложен в действиях моих мучителей — может быть, это и есть их гуманность, может быть, это и есть их добро. Мне трудно быть объективной, ибо у меня есть мечта, расстаться с которой я не вижу причин...

Я надеюсь, что из моих слов вам понятна боль и страдания моей души. Я надеюсь, что вы откликнетесь желанием помочь мне...”

1.7.75. Москва. Ида Нудель.

”...Она мне очень многим помогала. Очень!

Она заставила меня заниматься английским. Полтора месяца я занимался с преподавателем, и она присылала мне деньги на это.

Присылала передачи регулярно. Присылала разные вещи. Вот этот магнитофон, например. И книги по истории еврейского народа, по еврейской культуре — все это она мне присылала...

Однажды у меня возникло подозрение, что меня отравили...

Они отправили меня в тюремную больницу и держали там десять дней неизвестно по какой причине.

Я позвонил Иде, сказал, что плохо себя чувствую, что, по-моему, меня отравили.

Она приехала через два дня. Со своим врачом. Они привезли с собой всякие препараты, чтобы брать анализы и проверить все самим. Врач тут же меня обследовал и решил, что все в порядке.

Достаточно было мне сказать: "возможно, меня отравили", – как она примчалась из Москвы с врачом... Кто я для нее? Почему я? Она говорила: "Ты самый молодой среди моих "уголовничков".

Я был самый молодой...

Но важнее всего – это одно дело. Она вытащила меня из одной ситуации, когда я уже был уверен, что пропал.

Я шел в общежитие с портфелем, и меня попросили его открыть, показать, что там есть. Перед этим я только что получил письмо. Письмо от друга из лагеря, которое еще не распечатал.

Я открыл портфель...

Он достает письмо, этот милиционер, разрывает конверт и начинает читать. Пока я был в лагере, они имели право читать мои письма. Тут это уже запрещалось.

Я сказал, что рассматриваю его действия как противозаконные.

Тогда он повел меня к начальнику.

Я и начальнику сказал, что действия эти – противозаконны.

Тут он меня понес:

– Жид! Жидовская морда! Все вы такие, евреи, сволочи!

Первый раз я столкнулся с прямым антисемитизмом. Раньше у меня такого не было...

– Жид! Жиды! Жидовские морды!..

И матом. Сплошным матом...

Майор. Тогда он был майор. После того, как он меня обругал, ему дали подполковника. Буквально через неделю. Не знаю, какая уж тут связь...

Короче, после этого меня посадили.

Меня обвинили в том, что я отказался показать портфель. И еще в том, что грубил, хамил, дергал "ментов" за рукав.

Я вел себя абсолютно спокойно. Я говорил только, что они антисемиты. Им это не нравилось, – может, они не знают, что такое антисемит? – и в ответ они обзывали меня жидом.

Они меня посадили, держали двое с половиной суток, потом повели на суд. Судьи выслушали что и как, сказали, что я невиновен. Только выписали двадцать рублей штрафа и отпустили.

Звонят им из милиции: "Вы что, с ума сошли? Сейчас же задержать!"

Одевают на меня наручники, опять сажают, опять ведут на этот суд, опять они отказываются меня судить, и так получается, что больше трех суток они не имеют права меня держать без постановления прокурора.

Меня отпускают. Я даю телеграмму Иде. Десятирублевую. Полностью описываю все: так и так.

Ида сразу передала на Запад.

Она позвонила в Англию, в комитет "тридцати пяти".

Есть такой Джон Слесс. Она позвонила Джону Слессу, в Англию. Этот Джон Слесс позвонил из Англии начальнику комендатуры.

А я один день был на свободе, и повели меня опять на суд. Судил меня главный судья района. Дал он мне пятнадцать суток и сказал, что меня отправляют обратно в лагерь. Все. Эти месяцы работы не засчитываются.

Так вот: этот Джон Слесс позвонил начальнику комендатуры и говорил с ним через переводчика.

Они перепугались: из Англии звонят! Прямо из самой Англии! И прямо в комендатуру! И неизвестно кто. И неизвестно откуда телефон знает. Может, кто-нибудь из правительства? Звонит неизвестный

человек из Англии и говорит: "так, мол, и так, что у вас происходит с таким-то? Мне интересно..."

И они меня выпустили.

Они меня держали пятнадцать суток без вывода на работу, и каждый день я ждал этапа обратно, в лагерь. И вдруг, они меня выпускают!

Только потом я узнал, что сделала это Ида Нудель..."

"Сеня М. – художник. Человек он был мрачный в те времена и трудный, но мастер, по-моему, большой.

Вот он, Сеня М., решил уехать из России, но, конечно, он не мог уехать без своих работ, а говорить о том, чтобы их вывезти, было очень трудно.

Во-первых, картины его были полукрамольными, в понимании тамошних властей, и облагались большими пошлинами, да он просто опасался их предъявить, безвестный всем Сеия. Боялся, что их попросту уничтожат.

Никто, разумеется, не решался взять Сеню под свою опеку, потому что все были полны собственных забот, собственных тревог и страхов, а тут нужно было, помимо всего прочего, отдать и сердце, да и деньги, – а и денег у людей не было, а у кого и были, так тот больше думал о себе...

Вот тогда, значит, и познакомили Сеню с Идой. Или, наоборот, Иду познакомили с Сеней. Ида все, разумеется, рассматривала в аспекте полезности для ев-

рейского искусства, для еврейского народа. Принялась она опекать Сеню. Поддержала его морально, психологически, обещала, что все, что он сделал, все будет вывезено, все сохранится...

Разумеется, Сеня воспрянул духом.

В конце концов, кончилось это так, как кончается в большинстве случаев. Он укрепился во мнении, он поверил во все это, и прежде, чем он уехал из России, он участвовал в выставке неоконформистов, и выставка была в высшей степени удачной, – я имею в виду появление Сени М. там, на выставке, – и его заметили и отметили, и его имя получило огласку на Западе, и он выехал, и вывез все свои работы, и предстал, действительно, перед западным зрителем во всеоружии своих работ...

Я думаю, что если когда-нибудь и кто-нибудь напишет, что есть такой мастер Сеня М., – а может, он станет великим мастером, кто знает? – пусть тогда кто-нибудь из нас или он сам, Сеня М., вспомнит роль Иды Нудель во всем этом деле...”

”...И вот подошел срок выхода на свободу, и Ида прислала ко мне одного человека, чтобы ничего не случилось в последние дни. Если бы в эти дни они возвратили меня назад, в лагерь, пришлось бы еще сидеть восемь месяцев...

Ида прислала ко мне одного человека, и он все дни ходил за мной, буквально по пятам, и не отпускал меня ни на минуту. Мы все время были вместе. Неделю где-то...

Когда я освободился, мы с ним сели в самолет и улетели в Москву, к Иде. Она меня встретила, была очень рада, что я на свободе. Мы с ней выпили

немножко, потом она приготовила чай. Меня очень поразило, что она готовит чай зековским способом. Берет чашку, кладет туда заварку, заливает кипятком, накрывает сверху блюдцем и ждет, пока чай заварится. Я был так восхищен, так поражен, что она все это знает! Потому что в лагере только так готовят чай. Зеки очень любят чай. Одно из высших удовольствий в лагере...

Я говорю:

— Откуда вы это знаете?

Она говорит:

— О! Здесь побывало уже столько "уголовничков", что нельзя и пересчитать...

Потом мы пошли к синагоге.

Возле синагоги она познакомила меня очень со многими людьми. Их было так много, что я никого не запомнил...

Потом я жил у нее немного. Она спала в комнате, я спал на кухне. Всегда я чувствовал себя у нее, как дома. Мог делать все, что хочу.

Она часто говорила:

— Мне надо уйти. Ты можешь остаться и быть один.

Я оставался и был один...

Квартира у нее очень уютная. Диван. Пара кресел. Стул, стол, приемник. На кухне — холодильник. Все лежит на своих местах. Много книг.

Что еще?

Она говорит быстро. Ходит быстро. Убирает быстро. Все делает быстро.

Она очень вкусно готовит. Особенно цветную капусту. Это было так необыкновенно, это было так вкусно: не знаю, может, потому, что это готовила именно Ида. Раньше я ел цветную капусту, и она мне страшно не нравилась. У Иды мне все нравилось...

Что еще?

Ида всегда говорит страстно, напористо. Она требует, доказывает. Не допускает никаких компромиссов. Для нее эти годы — это борьба. Не простая

борьба, а целенаправленная, борьба продуманная, в которой не должно быть ошибок.

Ситуация очень сложная. За тобой постоянно следят. Даже в собственной квартире ты не можешь говорить то, что хочешь...

Когда мы говорили с ней о чем-то серьезном, мы всегда выходили на улицу.

Один раз мы говорили-говорили-говорили, и так опротивела вся эта ситуация, когда надо остерегаться в своей комнате, что когда мы вышли с ней на улицу и заговорили спокойно, то почувствовали, вдруг, свободу, осязаемую свободу, и дышали свободой, потому что можно было говорить, не остерегаясь. И ходили мы взад-вперед по садику, и говорили-говорили...

Интересный случай с микрофоном.

Я спросил Иду:

– Давайте найдем микрофон. Который стоит у вас в комнате.

– О, – она говорит, – если ты найдешь микрофон, меня сразу выпустят.

Я начал искать этот микрофон. Искал, искал...

Пришли знакомые и отговорили. Сказали: "не надо, не дразните их..."

Интересно, как я учил Иду кататься на велосипеде.

У нее стоял велосипед, и там были дырявые шины. Я починил этот велосипед, и мы поехали с Идой кататься. Она садилась и ехала, а я шел сзади и подталкивал. Там были очень неудобные педали. Из-за этих педалей Ида не могла спрыгнуть, когда велосипед падал, и падала вместе с ним.

Мы катались-катались-катались по этому парку...

В конце концов Ида говорит:

– Слушай, катайся сам. Мне надоело падать...

Потом мы сидели возле озера, и она мне рассказывала про свою жизнь. О том, как ее избили в КГБ. Били ребрами ладоней. О том, как они обвиняли ее в пьянстве, в тунеядстве, в проституции. О том, как она приходила к этому озеру, когда ей было трудно...

Это озеро чистое-чистое, там прозрачная вода. И когда ей бывало очень тяжело, и когда она ощущала слишком сильное давление, она приходила к озеру и часами сидела возле воды. Такое было нервное напряжение, что трудно выдержать. Если бы не это озеро, если бы не этот парк...

– Помогло озеро, – она говорила. – Около него я могу отдыхать. Тут нет глаз КГБ, нет никого рядом. Еще я видел, что за ней постоянно следили..."

Из заявления накануне суда:

"Вот уже семь лет я добиваюсь разрешения на выезд из СССР.

Семь лет я жду разрешения.

За эти годы ожиданий я стала известна широкому кругу лиц благодаря тому, что все эти годы старалась активно сопротивляться насилию властей.

Я много помогала тем, чье положение еще хуже моего – заключенным, особенно тем из них, кто своим самопожертвованием в 1970 году дал мне возможность обрести свое национальное и человеческое достоинство.

Я глубоко благодарна этим людям. Это они первыми подняли головы и сказали советским властям – отдайте наши визы! Это они дали мне лично возможность подать документы на выезд и быть уверенной, что рано или поздно я буду со своим народом в Израиле.

Завтра меня будут судить за то, что я, как гласит официальное обвинение – "...изготовила и вывесила плакаты с клеветой в адрес государственных учреждений, на замечания граждан и милиции не реагировала, вела себя вызывающе и из хулиганских побуждений обливала граждан водой".

И вот за эти "страшные" преступления готовится судебная расправа...

Но еще до суда КГБ организовало психологическое давление на меня. Вот уже двадцать дней постоянно в будни и в выходные дни за мной следуют четыре сотрудника КГБ в сопровождении двух автомобилей. Они не отдаляются от меня, а чаще всего идут прямо за моей спиной и с боков.

Я заявляю:

Да – это тяжелое испытание, это огромная психическая нагрузка, и она становится тяжелее с каждым днем.

Да – радуйтесь, испытатели, во мне растет напряжение. Радуйтесь знанию, что человек слаб.

Но что это дает вам, представителям великой державы? Утоление личной ненависти ко мне, сознание моих страданий приносит ли вам радость?

Радуйтесь, мне тяжело; но мне и легко.

Я чувствую поддержку друзей: и тех, кто рядом, и каждый по-своему старается облегчить мне жизнь; и тех, кто далеко, кто старается спасти мне жизнь; и всем далеким и близким друзьям я глубоко и искренне благодарна".

20.6.78. Москва. Ида Нудель.

"...Потом что можно рассказать?

Потом я добивался выезда...

Она звонила все это время к начальнику нашего ОВИРа. Звонила и говорила, будто моя мама. Тонким голосом: "Что слышно с моей визой? Почему вы задерживаете визу?" Она требовала, наседала, – мама так не может: "Визу! Давайте мне визу!"

Мы и не знали ничего об этом...

Потом я получил телеграмму от Иды: "Что ты там делаешь? Чем занимаешься? Приезжай в Москву".

Я приехал к ней в Москву и был там десять дней...

Мы сразу поехали на реку, в палаточный городок: там жили отказники. У них был отпуск, и они организовали коммуну.

Мы набрали кучу вещей, Ида шла с рюкзаком, была очень бодрая. Мы сели на теплоход "Ракета" и помчались по реке, и брызги попадали нам в лицо. Было очень приятно: сидели и ехали... Мне было приятно, потому что освободился, потому что уже на свободе. Приятно, что я среди друзей, что я после этих лет заключения, наконец, среди людей, которых могу считать единомышленниками. Мне было приятно ехать по реке на этом теплоходе, который быстро мчался...

Когда мы приехали в этот палаточный городок, первым делом я заметил, как к Иде подбежала маленькая девочка, стала обнимать ее и говорить:

– Вот я вас очень ждала. Я без вас соскучилась...

Ида сразу вошла в эту жизнь, начала помогать, готовить еду... Я сел на камеру от машины, сидел – смотрел. Ко мне подошла какая-то девочка, и мы стали с ней играть. Ида рассмеялась и сказала:

– Ты видишь? Сразу покорил женское население...

Вечерами мне было грустно, и я не выходил к ним, когда они пели, сидели возле костра. Я лежал в палатке. Ида сидела до ночи и часто звала меня, говорила:

– Принц! Идем к нам, идем к костру...

Она звала меня Принцем...

Я не шел к ним. Мне не хотелось...

А Ида сидела вечерами на берегу реки, они пели песни, разговаривали, слушали "Голос Израиля". Москва-река, лес, луга, далеко за городом, где-то восемьдесят километров: мы ехали туда на "Ракете"...

Очень компанейская женщина. Все время меня вытаскивала из палатки:

Принц, что ты там лежишь? Погляди, какой вечер!..

Было много детей там, у костра. Дети ее все знали, дети ее любили...

Ида — единственный человек, которого я уважаю, по-настоящему уважаю, потому что Ида... Ида — она бескорыстна. Она ради чего-то живет, ради какой-то цели. Мне всегда нравились такие люди, которые живут ради цели...

Днем мы ходили за продуктами. В соседнюю деревню.

В деревне ее окликали, говорили: "Девушка!" Она так молодо выглядела в те дни, настолько следила за собой — изящная женщина...

Ей говорили:

– Девушка, девушка, девушка...

Вполне серьезно говорили..."

Свидетель защиты:

"Я, Нижников Абрам Иосифович, с балкона моей квартиры заметил скопление народа у противоположного дома. Я вышел на улицу и увидел, что на балконе своей квартиры стояла Ида Нудель, которая прикрепляла небольшой плакат с еле читаемым издалека текстом: "КГБ, отдай мне визу!"

В соседних квартирах, на балконах и в окнах стояли люди в штатском и размахивали длинными предметами, стараясь попасть в безвинные плакаты, а с верхнего этажа один в штатском размахивал длинной веревкой, на конце которой был прикреплен тяжелый предмет. Я страшно испугался за жизнь моей соседки Иды Нудель, но кончилось тем, что разбили окно в кухне.

Все эти действия людей в штатском невольно вызвали скопление народа, и какие-то лица кричали: "Евреи бунтуют! Гитлера на них нет, Сталина на них нет!!" Все это происходило на глазах милиции, которая не предпринимала никаких мер к обузданию хулиганов. Перед моими

глазами предстал 1918 год, еврейские погромы на Украине, когда безнаказанно в домах еврейских семей выбивали окна и призывали к убийству евреев..."

Свидетели обвинения:

"В квартире № 28 нашего дома проживает гражданка Нудель, которая своим поведением позорит звание советского гражданина. Вывешивает на балконе антисоветские флаги и лозунги, делает клеветнические выкрики в адрес советского строя. В результате этого в доме создаются ненормальные условия для жизни.

Просим принять решительные меры и оградить нас от гражданки Нудель".

"Меня ее поведение очень возмутило. Я считаю, что она не только нарушала общественный порядок, но и опозорила, вернее, бросила тень на своих соседей, и поэтому она должна понести наказание. Ее нужно судить за подобные провокации".

"Я считаю, что Нудель нужно строго наказать, а если бы это было в моей власти, то я предложила бы самую строгую меру наказания, так как таких людей нечего жалеть, они позорят наш народ и государство".

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Народный судья Волгоградского районного суда г. Москвы..., проверив материалы предварительного расследования и находя достаточно оснований для рассмотрения дела в судебном заседании...

ПОСТАНОВИЛ

предать суду Нудель Иду Яковлевну..."

"..Помню, мы тогда опаздывали на самолет: я уезжал в Израиль.

И она взяла такси, и в такси мы поехали в аэропорт.

Я спрашивал:

– Чем я могу вам помочь?

Она говорила:

– Ты ничем не можешь помочь. Делается достаточно, но в моем случае это все не помогает. Единственно, чем можешь помочь: пиши мне...

Отправил я ей письма четыре, наверно. Недавно получил двести девять лир возмещения, за то, что мои письма к ней не доходили...

Потом оборвалось. Все. Конец.

Последним пришло от нее письмо к сестре. В Израиль.

"Ребятки, мои дорогие! Я уже сообщала, – если предыдущее письмо прошло, – что я полна решимости пробиться к вам. Получится или нет – это уже не моя вина, лично я сделаю все, что в моих силах. Ждите меня, я пробьюсь!

Целую вас. Ида..."

* * *

...Я совершенно уверена, мой мальчик, что ты не вырастешь одуванчиком, который летит туда, куда ветер дует. Я верю, что ты будешь самостоятельной и самобытной личностью, а потому присматривайся к себе, анализируй свои поступки и мысли, и ты научишься понимать себя. А это крайне важно потом, когда ты станешь взрослым, вдруг оказаться в ладу с самим собой. Это важно, и приносит много радости, даже если ты в тяжелых условиях и одинок. А потом, через два года, мы поговорим с тобой о любви, о любви мужчины к женщине, о радостях и страданиях, которые приносит это чувство. Пока еще рано, и не все можно разбирать...

Очень боюсь, что этот разговор состоится на бумаге. Если мир не изменится, то едва ли эти изверги выпустят меня живой. Не потому, что я необыкновенная ценность, а потому, что суть их душевная

такова. Но об этом не в цензурируемом письме. И об этом будет еще много книг и исследований, которые покажут глубину явления, участниками и свидетелями которого мы являемся.

Я не претендую на то, что рассказала тебе все, я сама мало думала о предмете – радость жизни, ибо через меня, через мое сердце проходит так много человеческого страдания, что трудно думать о другом. Но не этот предмет – тема моего письма к тебе, малыш...

Я призываю тебя искать и находить радостные и прекрасные стороны в человеческой жизни, не только в прекрасной природе, но и, главным образом, в окружающих людях, и стремиться быть другом таких людей, проходя мимо нытиков, попрошаек, хвастунов и эгоистов. Пусть они живут сами по себе, не становись их рабом и опекуном, это неоправданная трата времени.

Вообще, я так много передумала за эти годы, так много пропустила через свои руки и сердце людей, что теперь очень хорошо знаю природу человека, а потому еще раз тебе говорю: ищи умных и добрых, преданных и честных, их не так много, они разбросаны золотыми крупицами в серой массе потребителей, – но общение с ними приносит громадную радость, ищи ее и ты будешь счастлив необыкновенным счастьем, которое знают единицы.

Мой мальчик, я от души поздравляю тебя с возмужанием и желаю тебе вырасти честным, добрым и умным человеком.

Целую тебя

Ида.

ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ

"Мудрая, добрая, неустрашимая Ида, – здравствуйте!"

(письмо из тюрьмы).

Вот и мне довелось это увидеть.

Вот и мне, наконец.

Вот и мне...

Сколько раз приезжал я сюда, год за годом, провожая друзей своих! Сколько раз стоял я тут, задрав голову кверху, а они уходили за стеклянную перегородку, они улетали свободными, они пропадали навсегда!

Сколько раз это было, сколько несчитанных раз!

Я провожал многих, и возвращался назад, в свой отказ, и опять провожал, опять и опять, не зная, когда же придет, наконец, мой черед.

Я провожал многих, и это было тяжело.

Это было невыносимо – возвращаться назад, к ожиданию, к чемоданам, к полной безысходности завтрашнего дня.

Но насколько оказалось тяжелее, когда провожают тебя!

Насколько это невыносимее!

Вот и мне, наконец, довелось это увидеть.

Вот и мне...

Я стою наверху, на лестнице, и гляжу вниз, в последний раз, на друзей своих.

Стыдно глядеть им в глаза. Стыдно и больно.

Потому что я уезжаю, а они не могут уехать.

Я получаю свободу, а они остаются заключенными.

Заключенными, у которых нет срока заключения!

Одни ждут уже три года, другие – пять, третьи – восемь...

И завтрашний день – не их день.
И завтрашняя жизнь – еще не их жизнь.
Я уезжаю, а они остаются...
И дети – среди них.
И женщины – среди них.
И Ида Нудель...

"...здесь, действительно, зима, снег и холод, холод внешний и холод внутренний...

...в Москве гнусная атмосфера – допросы. Ищут слабого и потом набросятся, как шакалы...

...если с кем-то из здешних что-то случится, то главная задача ваша – не лить слезы и выдумывать ужасы, а спокойно и упорно, печатать, контактировать..

..жизнь – это борьба, и надо жить, борясь. Конечно, в борьбе летят ободранные куски мяса и кровь, но что делать?..

...я обдумываю одно дело: взвешиваю пока все за и против. Я проживу здесь еще пару лет и стану как мужчина, – все взвешивать, все оценивать, – провались они все пропадом, что они из меня делают, сволочи?!."

Мужчины!

Поговорим о женщинах, мужчины!

О неземных, эфирных созданиях, нежных и хрупких, томных и кокетливых, которым розами благоухать, мотыльками порхать, срывать по жизни цветы удовольствий.

Я открываю газету. Я читаю новую корреспонденцию из Москвы. Я вижу знакомые имена. Как далеки вы от нас! Как нам до вас близко!

Еще демонстрация...
Еще голодовка...
Еще допрос со слежкой...
Еще и еще!

Женщины! И все это наши женщины...

Когда у мужчин кончаются силы, когда на мужчин наваливается отчаяние, когда мужчин ломает болезнь или страх, когда мужчин уволакивают в тюрьму, – на их место встают женщины.

Неземные, эфирные создания, нежные и хрупкие, томные и кокетливые, которым розами благоухать, мотыльками порхать – и так далее, и так далее...

На которых дом, дети, заботы женские – заботы мужские.

Встать рано – приготовить завтрак – накормить семью – отправить детей в школу – пойти самой на демонстрацию – попасть в милицию – просидеть в камере – продержаться на допросе – получить порцию угроз и хамства – чудом выйти к вечеру – забежать в магазин – отстоять очередь – приготовить ужин – накормить семью... И бояться за мужа. И бояться за сына. И бояться за дочку.

Нет времени бояться за себя...

Женщины! И все это наши женщины, эфирные, неземные создания, которым – розами благоухать, – и так далее, и так далее...

Все это наши женщины, за которыми по пятам вечно бегают мужчины. Не потому, что они им нравятся. А потому, что они за ними следят.

Женщинам надо целовать руки – они им выкручивают.

Женщинам надо говорить ласковые слова – они им угрожают.

Женщинам надо улыбаться – они им скалятся.

Ну и мужчины пошли нынче в комитете государственной безопасности! Не джентльмены, нет, не джентльмены...

"...я за эти годы совсем вымотана. Я выдала такую массу психических и физических сил, что никак не соберу крошки и обломки...

...эта боль, которая на моем фото, бывает не всегда. Но боль – это главная тема... Когда же будет радость? Неужно Бог так со мной обошелся?..

...получила трогательное письмо от одного мальчика из Америки. "Меня зовут Даниель. Мне семь лет, и у меня есть сестра. Раввин попросил нас написать тебе, чтобы сделать твою жизнь счастливее..."

Я люблю эту женщину!

Я люблю эту женщину и заявляю о том всему миру, – чего тут стесняться?

Я люблю эту женщину, и тоже хочу, чтобы ее жизнь была счастливее.

Я люблю эту женщину, как любят ее многие, кому она помогала в их страшные годы заключения, кого она утешала, ободряла; вселяла бодрость, веру в победу, в справедливость посреди мрака отчаяния, злобы, ненависти и грязи.

Мне не пришлось сидеть в российских тюрьмах, но Ида помогала и мне.

Моей жене не пришлось мучаться без меня долгие годы, но Ида помогала и ей.

А сколько тех, кто обязан ей многим, сколько их, еще сидящих по тюрьмам и вышедших уже на волю!

Вот вам выдержки из ее писем в тюрьму. К одному из многих. К мальчику, с которым она разговаривала, как взрослый со взрослым, как мать с сыном. Товарищ с товарищем. Которому она дала силы выдержать срок, выйти на свободу, уехать в Израиль.

"Прежде всего, с самого эмоционального вопроса: понимаю ли я тебя? Неужели тебе это не ясно? Я поняла тебя в ту самую секунду, когда прочла твое заявление о выезде, я поняла твою суть, но это

совсем не значит, что я должна полностью соглашаться с твоими взглядами и суждениями..."

"Так вот — если у тебя есть идея, которой ты хочешь служить и хочешь достичь многого, то если ты не будешь стоиком, то ничего и не получится. Не имеет значения, из какой области твоя идея — равно в науке, политике, любви. И не ищи, малыш, оправдания своим слабостям: их полно у каждого, и оправдывать их перед самим собой — дело безвольных и нытиков. Но, слава Богу, ты не принадлежишь к этой категории..."

"И опять, и опять — будь благоразумен и терпелив. Ждать осталось не так много. Пусть и мучительно это время, но кто знает, может быть, это, действительно, время свободы приближается для тебя?.."

"Я думаю, что все витамины ты уже слопал, а потому посылаю новые и еще разные израильские продукты. Напиши, как нога? Может быть, у тебя плохая обувь? Купи получше, не жалей денег..."

"Будь эдоров, малыш. Пиши мне регулярно, каждую неделю, чтобы не соэдавать паники у меня на душе. Целую тебя. Ида..."

Что можно еще добавить?

Что можно сказать о ней сверх того, что она сказала сама?

Воистину, Бог открывает человеку главный его путь в незаказанные ранее сроки.

Только угадай этот момент. Только пойди по главному своему пути...

Воистину, Бог вкладывает порой большую душу в маленькое, слабое тело.

Только выдержи эту ношу. Только пронеси, как эстафету, до следующего человека...

Вот она и несет.

Вот она и ждет следующего.

Маленькая, слабая женщина — Ида Нудель...

"...о слабости — это уже позади... Я не сломаюсь, не отступлюсь, это уж я твердо

знаю. Может быть, я буду делать перерывы, но я не отступлюсь ни за что...

...в своем безвыходном положении я мечтаю о помощнике, так как сейчас не вижу иного выхода. Пока я не в тюрьме, можно что-то сделать, потом будет поздно...

...я требую от многих людей, требую резко и настойчиво, и знаю, что дураки отвернутся, оскорбленные, а умные умножат свои усилия, поняв меня. Я требую добиваться освобождения "самолетчиков". И я знаю своим сердцем – сейчас время пришло. Если я не сумею сделать сейчас – сидеть им до конца. И если я не буду беззаветно предана этой идее – ни черта не получится!.."

А мы все улетаем и улетаем. Один за другим. Мы улетаем, будто из окружения.

Будто последним самолетом, когда бомбят уже взлетную полосу.

Мы приземляемся в Лоде, опаленные, обугленные, в капсуле недоверия, отчаяния и надежды, и нас легко выделить из толпы по пристальному, напряженному взгляду.

Через пару месяцев в Израиле мне говорили многие: "Вот теперь у тебя нормальные глаза".

Я им не верил. Я смеялся. Я думал, они у меня всегда одинаковые.

Пока я не увидел следующих. Тех, кто был много лет в отказе. Тех, кого уже я встречал в Лоде. У них был пристальный, напряженный взгляд.

А мы все улетаем и улетаем...

И у каждого из нас ощущение невозможной удачи, будто вытянул счастливый билет.

И у каждого из нас – ощущение печали по оставляемому.

И у каждого – страх за остающихся.

Страх за Иду Нудель...

"...моя задача теперь – выбиться любым путем. Через тюрьму? Значит так. Я выполнила свой долг. Все. Теперь я должна вырваться сама.

...это можно сделать только при условии, что кто-то с нечеловеческим упорством и настойчивостью день и ночь, все эти месяцы будет думать и действовать в мою защиту. Иначе это пустое дело...

...я прошу не страдать над моими письмами. Не страдания нужны, а действия..."

И вот она уже в ссылке...

Моя любимая женщина – Ида Нудель.

Семь лет ее продержали в отказе. Просто так. По прихоти, ненависти, по злобе...

Теперь ей добавили четыре года ссылки.

Вся система ополчилась на одну маленькую женщину. "Самое передовое в мире" государство-гигант равнодушно давит невиновного.

Когда-то я прочитал в одной статье, что путем создания особых условий ученым СССР удалось вызвать искусственный инфаркт у обезьяны.

Это был триумф науки!

Это было величайшее научное достижение!

Что им теперь обезьяна? Давно пройденный этап. Они научились создавать особые условия для человека...

А мы молчим.

Мы живем, работаем, развлекаемся.

У нас на носу чемпионат по футболу. Потом по хоккею. Потом по теннису.

Вечный чемпионат.

Вечный праздник!..

А человека гноят в тюрьме.

А человека сживают со света.

А человеку не дают жить, как он хочет.

Жить?!

Думать ему не дают.

Дышать...

Но это там. Далеко. На краю света. Это нас мало касается...

Что там сейчас по программе?

Включайте телевизор!..

Из последнего слова Иды Нудель:

"Меня судят за семь предыдущих лет, самых славных лет в моей жизни. И если через многие годы мне еще раз нужно будет сказать последнее слово, я абсолютно уверена, что и тогда я повторю: эти семь лет моей жизни, за которые сегодня я сижу на скамье подсудимых, самые тяжелые и самые славные дни в моей жизни. В эти семь лет я научилась ходить с гордо поднятой головой, как человек и как еврейка. Эти семь лет были наполнены ежедневной борьбой за себя и за других. И каждый раз, когда мне удавалось сохранить живой очередную жертву, мое сердце наполнялось необычайным чувством, которому нет равного. Возможно, оно близко к чувству женщины, давшей новую жизнь. И даже если остальную жизнь я проживу серо и однообразно, эти семь лет будут согревать мне сердце и дадут сознание, что жизнь прожита не зря. И никто из вас, мои судьи, не может придумать мне кару, чтобы взять реванш за торжество и победу этих семи лет".

Страница восьмая

СТАРИКИ
(портреты)

СТАРИЧОК МОРДЕХАЙ

Моим первым учителем иврита был крохотный старичок Мордехай...

Игрушечный человечек с большой головой, в потрепанном костюмчике с бахромой на рукавах, в вечных, неснимаемых галошах на прохудившихся ботиночках мальчикового размера...

Это он показал мне первые буквы алфавита, он научил первым словам, старичок Мордехай, крохотный человечек с застарелым испугом в глазах от прожитой жизни и с несокрушимой верой в сердце, несмотря на испуг. Испуг у него был снаружи, на поверхности, а вера запрятана глубоко внутрь, подальше от грубых рук и подозрительных взглядов. И порой даже казалось, что испуг – это маскировка, накидка, прикрытие для защиты его веры...

Он пришел на первый урок, старичок Мордехай, со свертком подмышкой, обернутым в газету и перевязанным мохнатой бечевкой. Долго развязывал, конфузясь, а потом положил на стол Танах старого издания, новенький еврейский календарь из Израиля и молитвенник. По календарю он показал мне первые буквы алфавита: алеф, бейт, гимел... По Танаху он прочитал нараспев: "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого...

Я не знал еще ничего. Я не запомнил буквы. Не имел понятия о том, как будет на иврите "папа-мама", "стол-стул", но я уже знал: "Да погибнут враги твои, Израиль!" Или что-то вроде этого...

Потом он приходил регулярно, раз в неделю, крохотный старичок Мордехай, с неизменным свертком подмышкой. Разматывал плохонький шарфик, снимал легкое, продувное пальтишко, солдатскую

шапку-ушанку, и долго потом отогревался с мороза, потирал красные озябшие руки без перчаток. Мы ему предлагали пообедать, но он вежливо отказывался всякий раз, будто только что из-за стола: только потом я догадался, что он соблюдает кошер. Мы ему предлагали чаю с дороги, но он тоже отказывался: чай он пил у нас в перерыве между уроками, словно уже отработав за этот чай. Мы специально покупали хорошие шоколадные конфеты, и он съедал с наслаждением поначалу одну, потом, конфузясь, другую, а третью я ему подкладывал сам. Он любил пить чай, любил сидеть в теплой, уютной кухне и разговаривать на всякие темы, чтобы потом, с новыми силами — "Да погибнут враги твои, Израиль!.." Или что-то вроде этого...

А еще были у нас вечные скандалы с деньгами, потому что он не хотел брать, а если соглашался, то на мизерную сумму, и всякий раз надо было выдерживать бой, чтобы, в конце концов, запихнуть ему в карман смятую бумажку. А потом он наматывал на горло плохонький шарфик, натягивал продувное пальтишко, шапку-ушанку, пихал подмышку газетный сверток и уходил на улицу, в мороз и снег, и ехал потом на метро с пересадками, и еще на автобусе, в продутый ветрами новый неуютный микрорайон, в неприбранное жилище одинокого старика...

Было с ним очень интересно на его уроках, когда он раскрывал Танах, читал фразу за фразой, с наслаждением комментировал..., но я ничего совершенно не понимал, и через пару уроков догадался, что так оно будет всегда. Всегда он будет читать Танах, всегда наслаждаться и комментировать, — для этого он и приходит, — но языка я знать не буду.

И тогда я ему сказал:

— Морэ, — сказал я, и он прямо засветился от удовольствия: не химик, не технолог — морэ-учитель. — Морэ, — сказал я, — мне бы выучиться читать и разговаривать, а уж потом Танах.

Он очень огорчился этим, крохотный старичок

Мордехай. Он стал убеждать меня, что в Танахе есть все необходимое, что через пару месяцев я буду знать язык лучше его, он даже польстил мне насчет моих удивительных способностей..., но я был настойчив, я хотел научиться читать и разговаривать, и в этот день он без удовольствия выпил чай с шоколадной конфетой и ушел на улицу, в мороз и снег, маленький, несчастный, сокрушенный...

Через неделю я сказал ему:

– Морэ, – сказал я, – давайте так: до перерыва мы занимаемся разговорным ивритом, после перерыва – читаем Танах.

И опять он засветился на слово "морэ", и еще он обрадовался, что Танах мы все-таки будем читать, будем читать Танах!.. Этим он занимался в детстве, этим бы ему заниматься до старости: сидеть, да читать книгу, да комментировать, ссылаясь на авторитеты..., но жизнь выкинула его в мир, заставила окончить химический институт, работать технологом, чтобы на исходе дней вернуться к тому, с чего начал, от чего бы не уходить ему никогда...

И вот мы стали заниматься ивритом, и сразу же выяснилось, что он совсем не знает грамматику, крохотный старичок Мордехай, нет у него методики преподавания, нет плана, и я, скорее всего, первый его ученик, которого надо как-то научить читать и говорить. Он прекрасно знал иврит, это был его язык, язык его души, – но ведь птица, что поет на ветке, она тоже не знает нотной записи, она тоже не может научить другую птицу: поет себе и поет – и все тут...

И тогда я на каждый урок стал готовить список из двадцати-тридцати новых слов, – стол-стул, пол-потолок, чашка-ложка, дать-взять, – а он через неделю приносил мой список обратно, и против каждого слова был написан его ивритский эквивалент. До перерыва мы разбирали этот список, и он чувствовал себя, мой учитель, скованно и неуютно, потом долго пили чай и беседовали, и, наконец, раскрывали Танах: то, чего он ждал весь урок, крохотный

старичок Мордехай, то, ради чего и приходил ко мне: "Да погибнут враги твои, Израиль!" Или что-то вроде этого...

Потом он заболел, мой первый учитель иврита, и перестал приходить на уроки, а у меня уже появился самоучитель, изданный в Израиле, я знал алфавит, знал пару сот слов. Я занимался по книге, потом занимался с учителями — энтузиастами языка, что выучились сперва сами, а потом учили других. Мы беседовали на иврите, читали израильские газеты и книги, слушали песни. Их я уже звал по именам, — Наум, Лева, — но иногда и к ним обращался "морэ-учитель", — хоть и были они моложе меня лет на десять-пятнадцать, — и они тоже светились от удовольствия...

И вот я теперь в Израиле, и иврит вокруг меня, — на улице, по радио, везде, — но нет уже рядом моего первого учителя, крохотного старичка Мордехая, что показал мне алфавит и дал самые первые слова на иврите: стол-стул, пол-потолок, пить-есть..., нет его нигде...

Я ему говорил когда-то:

— Морэ, — говорил я, и он светился от удовольствия: не химик, не технолог — морэ-учитель. — Морэ, — говорил я, — а как вы насчет Израиля?

— Куда мне... — отвечал, конфузясь. — Старость... Болезни...

А в глазах — желание: пусть его опровергнут, пусть!..

И вот я закрываю теперь глаза, сосредоточиваюсь на минуту и, наконец, слышу: звонят в мою дверь. Я открываю поспешно, и на пороге встает, конфузясь, маленький человечек с большой головой, в плохоньком пальто, в солдатской шапке-ушанке, в неизменных, неснимаемых калошах, надетых на прохудившиеся ботинки мальчикового размера, и подмышкой у него — газетный сверток, обернутый мохнатой бечевкой.

— Шалом, — говорит он мне, потирая озябшие руки.

– Шалом, – отвечаю я. – Шалом, морэ!

И вот мы сидим с ним за одним столом, плечом к плечу, и разбираем новые слова, и читаем Танах, "Да погибнут враги твои, Израиль!" – а потом он уходит на улицу, в снег и мороз, маленький и одинокий, с вечным испугом в глазах и несокрушимой верой в сердце, уходит, чтобы больше уже никогда не вернуться, не позвонить в мою дверь...

– Шалом, – говорю я ему вслед, в последнюю его дорогу. – Шалом, морэ... Шалом...

МОЙ ПРОФЕССОР

Он был большой трус, мой профессор. Трус, каких поискать...

Всю свою жизнь он вечно чего-то боялся и потому, наверно, выжил...

Заведующий отделом, секретарь парткома, организатор и первый директор института, председатель парткомиссии по чистке в тридцать седьмом году... Ходили слухи, что из-за него когда-то садились люди. Подписывал, куда деваться? Не подпишешь – сядешь сам.

Он был большой трус, мой профессор...

Георгий Савельевич. Его звали Георгий Савельевич. Такой же Георгий, как я Степан. Такой же Савельевич, как я Иванович... Гирш Пинхас-Залман – вот как его звали на самом деле. Гирш Пинхас-Залман... В обиходе – Георгий Савельевич.

Его называли в институте мудрым, потому что он вечно молчал и вечно сидел в президиуме. Сидел с важным видом, пил воду из графина – и ни слова. Мне все казалось, что когда ему очень хотелось что-то сказать, крикнуть, выругаться, завопить, отвести душу, – он выпивал стакан воды, жадно, единым духом, будто смывал обратно неосторожное слово, что торчало уже в глотке, готовое вот-вот вырваться на

волю! Потому он и садился рядом с графином. Наверно, поэтому...

Его всегда выбирали в президиум, моего профессора... И он сидел там важно, неприступно, со значительным видом, будто знал нечто такое, чего не знают другие. Как ученый, он был полный нуль. Администрировал. Занимался партийной работой. По чужим кандидатским сделал свою докторскую. Перед защитой сутками сидел со своими мальчиками, слушал их объяснения, заучивал наизусть. И защитился, – куда денешься? Не он первый, не он последний...

После защиты он отгрохал роскошный банкет, и на этот банкет не пригласил своего старого учителя. Его учитель был в опале в то время...

Он был большой трус, мой профессор. Трус, каких поискать...

Этот человек никому не делал зла. Но и добра тоже... Со всеми хорошие отношения, ни с одним – близкие... На старости лет его перевели в консультанты. Его бывший ученик выгнал его из кабинета, и он сидел, как мальчишка, в общей комнате, на обычном стуле, за скрипучим столом, – глубокий старик, организатор института, – это обидно... Первым делом он поставил на этот стол большой графин с водой. Пил много, жадно, без стакана, прямо из горлышка – некогда наливать. Пил и молчал...

Мы с ним очень много говорили...

Мы говорили с ним на еврейские темы. Он сам шел на разговоры... Но это уже потом, когда его отстранили от власти. Когда у него родился внук...

К моему решению уехать он отнесся очень уважительно. Пока я ждал разрешения, он приходил ко мне всякий день, или ловил в коридоре, и мы разговаривали. При других он прекращал разговоры. Не любил, когда я подходил к его столу. Но один на один – мы говорили обо всем: положение Израиля, проблемы отъезда, всякое разное, – у него это, видно, наболело...

Он очень хорошо ко мне относился... До этого я был ему безразличен, — все ему безразличны, — но теперь он меня выделял...

В нем было задавлено еврейство, и вот оно, вдруг, прорезалось. Из украинского местечка, говорит на иврите, пишет-читает, кончил когда-то хедер... Потом комсомол, потом ЧОН — печально известные части особого назначения, рабфак, институт, комиссия по чистке — пошло-поехало... Система где-то его придавила в свое время. Система навалилась непомерной глыбой. Всю жизнь скрывал свой иврит, прятал еврейство, до ужаса боялся, что узнают, как его отец каждый день, до самой смерти, ходил в синагогу... Гирш Пинхас-Залман, в обиходе — Георгий Савельевич... И когда он увидел, что накопленное можно на кого-то вылить, и когда я ему показывал словари-календари из Израиля, когда я ему читал письма, он был дико счастлив...

При мне он даже воду не пил. Не притрагивался к графину...

Я ему говорил:

— Георгий Савельевич, — говорил я. — Язык у вас есть, еврейство прорезалось: что бы вам не поехать?

Молчит...

Я опять:

— Георгий Савельевич... Вы свое прожили, вы себе нажили — и званья, и должности, а с внуком-то как? Внуку тут жить...

— Эх, — говорит, — если бы я мог рассчитывать на свои силы...

И — бегом к себе в комнату. И — глоток из графина. Будто смыл во-время неосторожное слово, что торчало уже в горле...

Он очень за меня радовался, мой профессор, но к себе не примерял. Нет, к себе он не примерял... Он был слишком стар. Он уже вышел в тираж, мой профессор.

Такой случай:

Играли мы в шахматы, в перерыв. И был у нас парень, еврей, нервный мальчик. Он проиграл, я его поддразнил...

Как взовьется, как швырнет фигуры!

— Скорей бы ты убирался в свою Жидомордию! Из-за таких, как ты, жизни здесь нет...

Мой профессор вскочил, побурел:

— Вон, мерзавец!

И сразу испугался...

Тот вышел, он побежал следом. Объясниться...

Его называли мудрым.

Так и говорили: "мудрый старик".

Потому что он вечно сидел в президиуме и вечно молчал.

Заведующий отделом в прежние времена, секретарь парткома, директор института, председатель парткомиссии по чистке в тридцать седьмом году... Подписывал, куда деваться? Не подпишешь — сядешь сам.

Он был большой трус, мой профессор. Трус, каких поискать...

Всю свою жизнь он чего-то боялся и потому, наверно, выжил...

Но на проводы ко мне он пришел.

Он пришел — не побоялся — ко мне на проводы, и это был первый смелый поступок в его жизни!

И у меня на проводах он не пил воду из графина. Он пил водку. Вместе со всеми...

ЖЕНЩИНА У СИНАГОГИ

Я заприметил ее очень давно...

Я заприметил эту старую еврейку с унылым лицом нездорового цвета около московской синагоги на улице Архипова. Каждую субботу она появлялась там, с трудом преодолевая подъем своими опухшими ногами, переходила от группы к группе, слушала, молчала, шла дальше, а потом, вдруг, хватала кого-

нибудь за рукав, – цепко, не вырвешься, – и говорила долго, тихо, однообразно, на одной ноте..., и тот, к кому она обращалась, тоскливо переминался с ноги на ногу, поддакивал, слушал невнимательно, потому что он уже знал ее историю. Все около синагоги знали ее историю. Но она все равно рассказывала, по второму и по пятому разу. И если тебе удавалось избежать ее сегодня, она настигала тебя завтра. И если ты врал, что тебе некогда, она не обижалась. И если ты говорил, что знаешь уже эту историю, она все равно рассказывала. Долго, тихо, однообразно...

Потом оказалось, что я знаком с ее детьми. С ее сыновьями...

Как-то я узнал случайно, что существует новый метод изучения английского языка. Метод "погружения в язык". И что набирают группу, на частной квартире: двадцать один день, каждый вечер, по четыре часа подряд. Я пошет туда, на эту квартиру, и прошел маленький конкурс, и заплатил большие деньги, и был принят в группу, которая должна была "погружаться" в английский язык.

Когда я пришел на первый урок, я сразу отметил, что в нашей группе чересчур много евреев. Восемь евреев на группу из двенадцати человек. Нам раздали роли, – я, например, был мистер Фокс, крупный бизнесмен, – был еще адвокат, был профессор, была домашняя хозяйка, спортсмен, врач..., – короче, мы играли каждый вечер, по четыре часа подряд, и, играя, погружались в язык... Это и был их метод. А еще гасили порой верхний свет, включали тихую музыку, расслаблялись в креслах, и учительница читала шепотом английский текст, а мы дремали, балдели, погружались в язык или в сон...

В промежутках между играми мы пили чай, разговаривали, и где-то через два-три дня я все уже понял: все евреи, что пришли "погружаться" в язык, хотели уехать из России. Вопрос времени... Кстати, многие из них на сегодня уже и уехали. Но тогда мы собира-

лись вместе и откровенно беседовали: как, когда и куда...

И вот в этой группе были два брата. Хорошие ребята. Веселые. Добрые. Компанейские. Они тоже хотели уехать. И для них это было вопросом времени... Старшему надо было уговорить жену. Жене – уговорить своих родителей. Ее родителям – уговорить бабушку с дедушкой. И можно ехать... Младшему надо было написать диссертацию. Напишет – защитится – уедет. Вопрос времени. Полгода – год – от силы, полтора...

И вот мы закончили эти курсы, вынырнули после "погружения", и один из нас почти сразу уехал, и уехал второй-третий, а четвертый попал в отказ, а братья... братья все собирались...

Старший умирал – хотел уехать. Но сроки он перед собой не ставил, конкретно этим не занимался, только продлевал вызов из Израиля да все собирался всерьез поговорить с женой. Чтобы жена потом поговорила с ее родителями. А родители – с бабушкой-дедушкой. Но бабушка с дедушкой дряхлели, да и родителям годы не прибавляли молодости и уверенности, да и он с женой уже привыкли к такому положению: едем – не едем...

Младший тоже хотел уехать. Диссертацию он не написал, а вместо этого решил жениться. Прошел год – и он женился. Потом он ждал ребенка. Прошел еще год – и родился ребенок. С маленьким трудно ехать: надо подождать. Прошло еще два года – ребенок вырос. Вырос ребенок – жена пошла учиться. Жена учится – надо подождать, пока закончит...

И так – год за годом, год за годом...

И вот я узнал случайно, что старая женщина, что ходит каждую субботу к синагоге, это их мать. И она узнала, что я знаю ее детей. И теперь она уже искала меня в толпе, и находила чаще всего, и рассказывала в который раз свою историю. А я – на правах знакомого – не мог уже отказаться...

– Это было в тридцать шестом... в тридцать шес-

том... тридцать шестом... — Она говорила, задыхаясь, уставая, сипя натруженными бронхами, старая, больная, телом опавшая, духом раскисшая женщина, и все дергала, дергала, дергала меня за рукав: — Это было в тридцать шестом... тридцать шестом... тридцать шестом... Мы только поженились... Поженились, договорились, условились... Молодые, сильные, переполненные желанием... Мы сразу подали документы. Сразу, да-да, сразу! Тогда еще выпускали... И нам дали полгода на выезд. Мы собирались без спешки, как на долгий праздник. Чего спешить? Без нас не начнется, с нами не кончится. Оставался месяц до отъезда... Да, месяц! Они запретили выезд. Совсем. Почему? Я знаю — почему? Им, наверху, виднее. Они запретили навсегда... В тридцать шестом... тридцать шестом... тридцать шестом... Всю жизнь мы прожили в ощущении этой неудачи. Неудачи? Катастрофы! Когда нам было плохо, мы говорили: там этого могло не быть. Когда нам было хорошо, мы говорили: как бы хорошо зто было там! Теперь мы старые развалины, мы на пенсии, у нас дети, внуки... И никто из них не едет! Никто не отвезет родителей в их тридцать шестой год... В тридцать шестой... В тридцать шестой... Вы думаете, они не хотят? Они хотят. Но у них есть еще время. Они думают. Они не торопятся. У них еще впереди много месяцев на сборы... Как у нас в тридцать шестом... в тридцать шестом... в семьдесят шестом...

ХАННА — МАМА, САУЛ — ПАПА

> "Дорогие, любимые! Опять Новый год, и опять мы в разных концах мира. Мы бодры и полны надежд, что в этом году наконец-то будем вместе. Два отказника теперь получили разрешение, где-то и когда-то наша очередь?..."

— Когда я уезжал, было ощущение короткого расставания. Было ощущение: еще немного, год, пол-

года, – и родители приедут. Я брал книги для отца, я брал стол для семьи, полки книжные, которые нужны нам всем... Разлука, я думал, кратковременна.

Они подали после меня, родители и брат Саша, – и отказ...

Потом надо было спасать уже Сашу. Спасать от армии: подавал один Саша... Это стоило нервов, и много нервов. Его надо было вытолкнуть, как выталкивают ребенка из горящего дома...

Теперь они остались там вдвоем. Одни...

– Как она все аккуратно складывала! Шила ему в дорогу простыни, наволочки. Чистила. Стирала. Бегала по магазинам. Закупала. Складывала-укладывала, старалась для своего мальчика. Она его готовила в дорогу, как невесту готовят перед свадьбой...

– Она говорила только о детях. Она рассказывала об их письмах, она рассказывала о том, что они делают в Израиле. Она говорила: "Я больной человек. Я боюсь не увидеть своих детей. У меня теперь одна только цель в жизни: уехать и увидеть их...

> "Четыре месяца мы жили от звонка и до звонка, и каждый раз нам назначали через неделю, еще через неделю – и вот опять отказ! Очень тяжело на душе, очень переживаем, что дети взрослеют без нас... Такая дата у сыночка, такое событие, а мы тут торчим!"

– Интересно ее отношение к властям...

Время от времени у мамы просыпается надежда, что ее поймут. Время от времени она пишет, что они тоже все-таки люди. Ей хочется верить, что они поймут, наконец, как ей тяжело! Но не понимают и не выпускают...

Она сказала по телефону: "Они тоже люди. Они понимают, что я старая женщина. Они понимают, как долог для меня каждый год. И для папы долог...

И выпустят, они нас выпустят. Люди, – они понимают, что это значит, – старые люди, пожилые люди, больные люди без детей..."

А после этого был опять отказ. Видимо, они понимают свое дело лучше, чем ее просьбу...

– Потом мы ходили в ЦК, к Иванову... Женщины, только женщины!

Среди всех остальных Ханна Ароновна была самая активная. Она говорила Иванову, она даже расплакалась там, расчувствовалась: "Когда я увижу своих детей?!" И было впечатление: вот она говорит, и вот она верит, что он может что-то сделать. Стоит ему захотеть... И что вообще на свете существует справедливость, и в Советском Союзе тоже...

Да и как не поверить?! Вот мы сидим в ЦК, в самом главном учреждении советской власти, с нами разговаривает заместитель начальника административного отдела, лицо ответственное: не может же он врать прямо в глаза!..

– Прошло время, – три месяца, четыре, – и Ханна Ароновна поняла, – все поняли, – что даже на таком уровне нас обманывают. Цинично. Издевательски. Ее реакция была очень тяжелой. Пожалуй, тяжелее, чем у нас у всех. Она почувствовала, что никто ее тут не защищает, и нет никакой логики в том, что с ней происходит. Она потеряла почву под ногами, она не понимала, как ей дальше действовать...

И тогда женщины решили, что ждать больше нечего, – новый обман, новые издевательства, – терпеть нету сил: пусть делают с нами, что хотят! Мы боремся за детей, мы боремся за будущее наших семей – у нас нет выбора. И Ханна Ароновна сказала: "Теперь я пойду на любые дела..."

– Мы решили пойти на демонстрацию, на большую женскую демонстрацию. Показать властям, что мы дошли до предела, что терпеть и ждать больше не мо-

жем, что наше положение делается все более трагическим...

Мы понимали, что пятнадцать суток тюрьмы – это вещь, к сожалению, возможная. И мы были готовы к этому. Но Ханна Ароновна – человек больной, мы боялись за нее, мы не хотели, чтобы она участвовала...

Я спросила ее: "Сможете ли вы, Ханна Ароновна?" Она сказала: "Не только смогу, но и буду первой. У меня нет времени больше ждать. Я боюсь не увидеть детей..."

> "Самое худшее для здоровья – пассивное ожидание. Когда сама борешься за свою жизнь, то морально легче, как бы ни были малы результаты. Молодым легче – они успеют выполнить свои намерения, но нам – надо торопиться..."

– Я думаю, очень важно еще рассказать, как женщина, измученная многолетними ожиданиями, – как она храбро ведет себя. Я наблюдал Ханну Ароновну в очень серьезных ситуациях, когда вокруг были злобные, ненавидящие нас люди, и эта женщина вела себя совершенно бесстрашно, была мужественна и спокойна. Каждый раз я поражался ее страстному желанию участвовать в борьбе. Именно потому, что она активна, добра и порядочна, мы и запомнили, и узнали ее...

– Она была на демонстрации на Трубной площади, и в других местах. Она снова подписывала петиции. Она шла на приемы. И сколько, действительно, нужно мужества, а чтобы таким образом поступать, ей, женщине, в ее возрасте, с ее здоровьем...

Туда, на их демонстрацию, заранее привозят хулиганов и хулиганок. И эти люди, – как только женщины там появляются, они еще ничего не успевают сделать, – эти бандиты, антисемиты – они сразу начинают кричать: "Жидовки! Убирайтесь в свой Из-

раиль!"... Нужно быть очень мужественным человеком, чтобы все это перенести. И снова делать подобное...

– Я не случайно говорю о ее мужестве. Потому что ей самой очень важно, чтобы видели, что она человек мужественный, что она не баран, которого можно загнать куда угодно и которым можно помыкать... Она ведет себя очень достойно. Как женщина, мать, еврейка. Она борется за себя, за семью, за детей своих...

– Я помню, например, случай, когда мы собрались на демонстрацию, а Ханну Ароновну задержали под домашним арестом. И тогда она переоделась в другую одежду, вышла, крадучись, в пять часов утра, – караульщики спали у подъезда, – как молоденькая девушка перебежала через двор, и очень потом радовалась, что ей удалось ускользнуть. И сказала, что у нее хватит еще сил ради такой цели – быть здоровой, выдержать, увидеть детей...

> "Мы делаем все, чтобы вырваться к вам. И это отнимает не только время, но и все наши мысли, всю нашу энергию. А ведь есть еще другие вокруг нас... "

– Когда случилось у меня несчастье, она на рассвете пошла в ОВИР, заняла там очередь, потому что мне нужно было получить разрешение на захоронение мужа. У меня были визы на руках. При выдаче виз нам с мужем сказали, что мы лишены гражданства, и я боялась, что мне не разрешат его похоронить...

Она пошла в ОВИР на рассвете. Она заняла очередь. Она заслонила дверь. Она встала на пороге и не впускала никого. Никого! Я зашла первой, у меня была беседа в ОВИРе, мне сказали, что я могу похоронить мужа. Там. В России.

После похорон они меня не оставляли ни на минуту. Они были со мной, рядом. Именно те люди, с которыми я и мой муж все последнее время проводили вместе...

Для меня это было очень-очень дорого!

И назавтра, и на послезавтра они у меня были с Саулом Моисеевичем, очень поздно. Февраль, морозный день, снегу по колено, и не так просто из Марьиной Рощи добраться ко мне, в Лужники. Но они приходили... И накануне отъезда, когда мне так требовалось дружеское участие, и в день отъезда. Я видела и слезы в ее глазах, и ликование за меня, и радость, что я увижу ее сыновей...

Это человек большой души. Ее душа открыта для многих. Она мне родной человек...

Что я могу сказать о Сауле Моисеевиче?

То же самое...

– Для меня они очень много сделали. Они провели меня по всем этапам выезда. Они обязательно требовали, чтобы я им звонил по несколько раз на день, отчитывался в своих делах, чтобы я не наделал тех ошибок, которые делали другие. И они так радовались, когда мне что-то удавалось...

Я не знаю других таких людей. Чтобы человек сам просил: ты мне только скажи, чем тебе помочь, я хочу помочь... Вот это вот – "Я хочу тебе помочь" – это как девиз какой-то, смысл их бытия на сегодня. Вот именно: "Я хочу тебе помочь!.."

– Когда уезжали молодые, здоровые люди, полные сил, они всегда участвовали в этом. Ханна Ароновна – эта пожилая женщина – приходила первой, она приносила с собой бутерброды, она сидела целый день и паковала белье, посуду, книги, – это делала Ханна Ароновна, пожилой, больной человек. И сколько я ни говорила, что, может быть, следует ей отдохнуть, может быть, ей надо пойти домой, она улыбалась в ответ: "Может быть... "

Или это ей казалось, что она пакует, наконец, свои вещи?..

– Что для меня совершенно непонятно, это их доброжелательство, их радость, когда они узнают, что кто-то получил разрешение. Это для них праздник, хотя с каждым разрешением им становится все тяжелее, потому что все вожделеннее для них и все недоступнее их собственный выезд...

Буквально на всех проводах я встречала Ханну Ароновну и Саула Моисеевича. Это – радость! Это – подарки! Это – поздравления, пожелания, приветы! Это – праздник на их лицах!.. Как же они сумели сохранить в себе нормальные, человеческие эмоции?!...

– У нас были проводы: тосты, пожелания, много слов хороших. А потом Саул Моисеевич отозвал меня в другую комнату и очень серьезно сказал, и слезы у него на глазах:

– Миша, – он мне сказал, – вот ты приедешь в страну... Но ты учти, Миша... (А за стеной – тосты, тосты!) Ты учти, там будет много тяжелого и, может, плохого... Миша, это наша страна, и если плохо – это наше плохое, это надо постараться изменить, хоть немножечко, чем-то своим, совсем чутошным, чтобы оно стало получше... Ты меня понял, Миша?

И если говорить не кокетничая, не ломаясь, для меня его слова – это очень серьезно...

– Когда я уезжала, она мне сказала: "Не говори детям, что я себя плохо чувствую. Не надо им этого знать. Скажи, что я бодра, здорова, делаю все, что могу, и даже то, чего не могу. И что я добьюсь своего и скоро их увижу".

Я не сказала сыновьям, что она больна.

Но я поняла, что они и так это знают...

"Дорогие, любимые! Опять Новый год, и опять мы в разных концах мира...

Ханна, мама
Саул, папа. '

КАДИШ

"Не на тебе кончить работу... "

Рабби Тарфон
(Пиркей Авот, часть 2, мишна 21)

1.

Улица вздыбилась поперек города горою горбатой.

Улица уткнулась в небо перстом асфальтовым.

Улица явила собой знак неразгаданный, тайну сокрытую, волю непроявленную.

Улица сама предложила выбор...

К синагоге можно спускаться сверху. Нисходя, снисходя, понижаясь до ее уровня. К синагоге можно подниматься снизу. Восходя, возносясь, возвышаясь до ее ступеней.

Улица эта тяжела на подъем.

Улица эта тяжела и на спуск.

Кому что...

Кто как...

"ВСЕМОГУЩИЙ ДА ПОМЯНЕТ ДУШУ МОЕГО ПОЧИВШЕГО РОДИТЕЛЯ, ЗА УПОКОЙ ДУШИ КОТОРОГО Я ОБЕТУЮ НЫНЕ ДАТЬ МИЛОСТЫНЮ..."

Я прихожу к синагоге.

Я надеваю на пороге шапку.

Я опускаю деньги в кружку.

В ее тесную щель...

Милостыня моя, как ты мала!

Как ничтожна ты, моя милостыня!

И сотен нехватит, и тысячами не откупишься, и миллионы теперь не утишат боль нашу и вину...

А душу свою не запихнешь в кружку.

Душу свою не протиснешь в узкую щель.

Обдери бока, раскровянь руки, оборви уши – наше прошлое за такой вот щелью. За такой щелью –

наше будущее. И настоящее наше — гигантская, взглядом неохватная щель...

2.

"За горами, за долами
Голуби летели,
Голуби летели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели..."

Отцы наши жили в вечном отказе.

Жили — не замечали. Жили — отмахивались. Жили — стонали. Жили — не жили...

В отказе от себя, от предков своих, от книг и от песен, от обычаев и обрядов, от Дома постоянного, в котором светло и уютно.

Не было у них ощущения Дома, а только — пристанища. Временного пристанища на неоконченном пути. В лучшие моменты приходила уверенность — я Дома! — и уходила в моменты нелучшие. От взгляда косого, от слова дурного, от намека малопрозрачного. И потому глушили себя работой, благополучием, цинизмом, самоуговорами, дутыми пузырями-идеалами. Глушили себя самоглушилками, чтобы не расслышать голоса внутреннего. Глушили себя сами, и время глушило их.

Они недодумали, отцы наши, недомолились, недоделали и недодышали, недосмотрели и недоговорили.

Молча не научишься говорить...

Они все вышли когда-то из гетто, все-все.

Они вышли из гетто наружнего и попали в гетто внутреннее. Гетто загнали в них. Гетто оказалось внутри каждого. Без права выхода наружу слова, мысли, поступка. Без права проживания самого себя в самом себе. Петлей за горло — черта оседлости. Петлей за душу... И касалось это теперь всякого,

без прежнего исключения. И ремесленника, и врача, и студента, и купца первой гильдии.

Вы когда-нибудь стеснялись собственного эха?

Вы когда-нибудь бежали от собственной тени?

Вы когда-нибудь заискивали перед глазами своими в зеркале?

А перед детьми своими?..

Так кто же тогда сказал, что у меня отказ?! Грубый, беспричинный отказ вот уже который год?

С их отказом пришло мое разрешение.

Разрешение думать, говорить, поступать, слышать и видеть.

Разрешение шагнуть к самому себе. К детям своим.

А за это, между прочим, надо платить. За это право надо хорошо заплатить, и вот теперь я расплачиваюсь.

Плата моя, как ты мала!

Как ничтожна ты, моя плата!

Мы все расплачиваемся. Все-все. Или будем расплачиваться.

До смерти своей.

До прозрения.

До отъезда.

Или до психлечебницы...

3.

Прислушайтесь: звучит вечный кадиш!

По ушедшим, по убегающим, по укрывающим лицо свое, по заслоняющим глаза детям и внукам.

Когда-то, в стародавние времена, наши предки сурово взыскивали за убитого. Они взыскивали не за одного человека, а за все неродившиеся от него поколения. В которых мог оказаться новый Самуил, новый Давид, новый Бар-Кохба.

Уходит человек из народа. Детей своих уводит. Внуков. И в поколениях исчезает след его. И рождаются от семени его так и неродившиеся цари и пророки.

Нет вины на отцах наших. Есть беда на нас.

Они хотели облегчить нашу жизнь. Они ее усложнили.

Приходит время, и ты стыдливо пишешь в анкете нетипичное имя деда. Подходит срок, и тебе намекают на странную твою особенность. Наступает момент, и не отвертеться тебе от основного вопроса.

И вот уже тебе решать: еврей — не еврей.

И тебе же: ехать — не ехать.

И подлаживаться — тебе.

И подстраиваться — тоже тебе.

И проклинать отъезжающих.

И ловить слухи.

И тайком прикидывать свои возможности.

И ждать подвоха от детей своих.

И раздваиваться, и расстраиваться, и зарабатывать язву, гипертонию, психические расстройства...

Евреи всегда поставляли пациентов в сумасшедшие дома мира.

Сегодня, здесь — мы перекрываем все прошлые рекорды.

Время такое нам выпало.

Счет предъявлен к оплате.

Сильному — на радость. Слабому — на отчаяние...

Не может быть народа без права проживания в народе своем.

Не может быть вины без наказания. Ошибок без сожаления. Заблуждений без прозрения...

"Запрягайте, хлопцы, коней:
Кони вороные,
Кони вороные.
Мы поедем догонять
Годы молодые.
Мы поедем догонять
Годы молодые..."

4.

Вот и выросло новое поколение.

Ручные евреи.

Смирные. Покорные. Улыбчивые. Прирученные и одомашненные.

Евреи на полставки.

О таких можно писать диссертации. Таких нужно показывать в зоопарке.

"Кормить и дразнить разрешается".

Только получше кормить. Только пореже дразнить.

А если наоборот?

Если пореже кормить? Если получше дразнить?

Можно и так. Можно по-всякому. Ведь мы ручные. Мы согласные. Ко всему привыкшие, от всего отвыкшие. Ко всему приставшие, от всего отпавшие. Мы уж почти не евреи. Только надпись на клетке подчеркивает наше отличие. "Еврей восточноевропейский". Одна только надпись!

Зачем нас вообще выделять? Ну, зачем!? Пустите нас в общую клетку, чтобы смешаться, раствориться, спрятаться в других. Медведь гималайский, лев африканский, кенгуру австралийский, еврей восточноевропейский...

Дайте нам общую клетку, и мы торжественно обещаем, что через пару поколений вы нас не узнаете. Есть же в зоопарке зубро-бизоны! Будут зубро-евреи. Бизоно-евреи. Медведе-евреи и льво-евреи.

А еще через поколение: зубро-зубро-евреи, зубро-бизоно-евреи, зубро-медведе-евреи.

А еще через...

А еще...

Зубро-бизоно-медведе-волко-кенгуру-неевреи...

И все будет хорошо. Все будет прекрасно. И надпись исчезнет с клетки. И проблема. И всеобщая головная боль, которую они (мы, вы, ты и я) вызывают...

Только почему, когда наелся доотвала, так неуютно на душе? Только отчего, когда напился из мис-

ки, так тянет к простой луже? Только зачем, когда валяешься на мягкой подстилке, возникает, вдруг, неуемное желание подохнуть под тем забором, который ты сам себе выбрал, а не под тем, которым тебя огородили?

Человек — существо неблагодарное.

Больше того — неразумное.

Заранее нерегулируемое...

На одно это наша надежда. На одно только это...

"Мы догнали наши годы
На широком мосте,
На широком мосте.
Юны годы, воротитесь
К нам обратно в гости.
Юны годы, воротитесь
К нам обратно в гости..."

Ему рассказала об этом его бабушка.

А бабушке — ее бабушка.

А той — ее...

У его прадеда был прадед. Ой, прадед! Знаменитый человек. Мудрец. Ученый. Праведник. Большие дела делал. Ой, делал!

Его знали все. К нему приезжали за советом со всего света. Что свет?! Из Вильны приезжали к нему за советом! Из самой Вильны! Он дожил до восьмидесяти лет и больше не захотел жить. Умирая, он пообещал, что один из его потомков продолжит его дела с восьмидесяти лет. Но до этого он должен жить праведно.

А потомки не доживают до восьмидесяти.

И жизнь у них — далеко не праведная.

И завет предка переносится из поколения в поколение.

— Живи хорошо, — сказала бабушка. — Старайся. Может, это будешь ты.

— Может, это будет мой сын, — сказал он. — Или внук. Кто-то должен быть праведником!

Кто-то, конечно, должен.
Но кто?..

5.

Мы хоронили Ефима Давидовича в ветреный апрельский день.

Холодно было. Знобко. Неуютно и неприглядно. Будто время шло не к лету – к осени.

"Нет, не можем воротиться :
Годы не вернуть,
Годы не вернуть.
Что прошло, не возвратится –
Прошлое забудь.
Что прошло, не возвратится –
Прошлое забудь..."

Евреи собирались со всего Минска. Евреи ехали из других городов. Евреи передавали друг другу: "Давидович умер. Умер Давидович..."

К пяти часам двор был забит народом.

Кто же он был, этот человек? Почему он? Почему именно теперь и здесь? Одинокое правило в толпе неотличимых исключений, или удивительное исключение посреди сытых правил?

Он был солдат, Ефим Давидович. Солдат – полковник – снова солдат.

Ниже солдата не дано разжаловать никому. Даже министру обороны.

"Я всю войну ходил в атаки. Это была моя работа".

Сколько их, благополучных отставников, обогретых пенсией и воспоминаниями? Сколько их, закостеневших в непримиримости, воспитанных на нетерпимости к чужим и на вечном колебании вместе со своими? Что бы ему не жить в свое удовольствие, как все, не сидеть на лавочке и в президиуме, не вспоминать с гордостью былые бои?

Воистину, Бог выбирает пророков. Но бойцами мы становимся по своей воле.

"Я всю войну ходил в атаки. Это была моя работа..."

Какой он был, Ефим Давидович? Каким останется в памяти?

Это был высокий человек. Очень высокий. И не одним только ростом.

Прямой и откровенный. Дружелюбный и участливый. Бить — так наотмашь. Любить — всем сердцем.

Его родителей убили немцы. Его близких родственников. Всех минских евреев: и малых, и старых. Он остался один из огромной еврейской семьи, и, может, это разбудило в нем чувство ответственности. За тех, кто не мог уже сказать. За тех, кто не может еще сказать. За всех, кому заткнули рот пулей, газом, страхом или деньгами.

К нему приезжали евреи со всей Белоруссии. За советом, за помощью, за защитой. Он надевал свой полковничий мундир, папаху с шинелью и шел воевать. Жена его шла следом. С ампулами и со шприцем.

Когда он выходил из очередного кабинета, она делала ему сердечный укол.

"Я всю войну ходил в атаки. Это была моя работа..."

У него были ранения за ту войну.

У него были инфаркты за эту...

Его допрашивали часами. Жена ждала на улице со шприцем.

Ему угрожали месяцами. Жена ждала со шприцем.

Его запугивали годами. Жена ждала...

У него было пять инфарктов.

На шестом он умер...

"За горами, за долами
Голуби летели,
Голуби летели.
Еще радость не пришла

Мы хоронили Ефима Давидовича в ветреный апрельский день.

Дело шло к лету, но на улице была осень.

Играл оркестр. Плакали осиротевшие старики. Деловито шмыгали в толпе дежурные топтуны с включенными магнитофонами. Дальнобойным телевиком кто-то беззастенчиво фотографировал скорбящих.

Понесли ордена на красных подушечках.

Понесли крышку гроба со звездой Давида.

Понесли его самого в мундире полковника.

Мимо дома, где он жил. Мимо дома, где жили другие военные. Мимо окон, в которых стояли любопытные.

С верхнего этажа кто-то кинул в него сырое яйцо.

Яйцо взорвалось на асфальте, как брошенная граната.

В него и в мертвого кидали гранаты. Как когда-то в живого. Как на войне.

Это ли не знак вечной его жизни?..

"Будьте честными, – сказала жена на могиле. – Будьте правдивыми. Не живите ложью, не дышите обманом. Ложь как бумеранг. Она вернется к вам и ударит во сто крат сильнее".

А вокруг сутулились евреи, которые похоронили своего защитника. Вокруг печалились евреи, которым было жить дальше.

Он всю жизнь ходил в атаки, Ефим Давидович.

Кто следующий?

Это была его работа.

Чья теперь?..

6.

"...еще радость не пришла,
Годы улетели.
Еще радость не пришла,
Годы улетели... "

Катафалк отъезжает от синагоги.

Медленно и печально.

Вниз, вниз, вниз...

Старики идут следом. До угла, до первого поворота. Им – провожать друг друга. И возвращаться обратно. И ждать своей очереди.

Последнему проводить всех...

Старики всегда на войне.

Падают их сверстники. Слева и справа. И уже привычно. И почти безразлично. И мелькает порой сумасшедшая надежда, что минует тебя участь сия...

Катафалк отъезжает от синагоги...

Сколько по городу адресов, куда больше не зайдешь! Боже мой, сколько адресов! Сколько в записной книжке номеров, куда больше не позвонишь! Боже мой, сколько номеров! Можно вычеркнуть их из книжки, можно обойти стороной те улицы, но что делать с памятью, что с ней делать?! Сидят в беззубой памяти пустыми провалами, а корешки ноют глубоко в деснах, корешки-воспоминания...

Катафалк отъезжает от синагоги...

Прощайте, отцы наши!

Вы уезжаете, мы остаемся.

Прах ваш в земле чужой. Прах ваш в земле родной. Прах ваш там, где застала вас жизнь.

Не всякому дано быть праведником. Не всякому – мудрецом. Не всякому добраться до Земли обетованной. Одному не дало время. Другому – силы. Третьему – заблуждения.

Но все мы в цепочке.

Все – в надежде.

Все – в нетерпении.

Должен же кто-то с восьмидесяти лет продолжить великие дела?

А не с восьмидесяти?

Должен или не должен?!

"Не на тебе кончить работу, но не тебе и уклоняться от нее... "

Страница девятая

ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО...

"Летайте самолетами Аэрофлота!"
Реклама.

1.

Деды наши уходили из России пешком.

На рубеже веков: через Бессарабию, Галицию, Австро-Венгрию.

Отцы наши уезжали из России в теплушках.

В двадцатые годы: через Румынию, Польшу, Латвию.

Мы сами улетаем из России самолетами. Теперь, сейчас, ежедневно.

Через азропорт "Шереметьево"...

2.

У дедов наших: один брат уходил, другой оставался.

Уходили от погромов, от казенной армейской муштры, от удушливой атмосферы черты оседлости.

Оставались в привычном месте, у родных могил, в окружении друзей и родственников.

У отцов наших: один брат уходил, другой оставался.

Уходили от холода, голода, от рек пролитой крови, от незабытого еще ужаса времен Махно и Петлюры.

Оставались в плену у обстоятельств, в заботах о дне сегодняшнем, с любовью к тому, что невозможно покинуть.

И мы также... Брат уходит, другой — остается. Один взваливает на свои плечи неподъемный этот груз, делает то, чего не сделали отцы его и деды, другой — пропускает очередь, оставляет на долю детей своих и внуков.

Вчера, сегодня, ежедневно: брат прощается с братом.

В аэропорту "Шереметьево"...

3.

Во все века уходили евреи.

Уходили, никуда не прийдя. Приходили, чтобы уйти снова. Оставались на время, уходили навсегда. Потому что приходить было некуда.

Даже те, кто оставались, уходили во снах.

Ушедшие – во снах возвращались.

Они брели по миру, везде неприкаянные и везде нежеланные, прилепляясь корнями к чужой земле, рожая на ней детей, закрывая глаза старикам, оставляя на своем пути свои могилы.

Они добивались успеха на новом месте, почета и благополучия, а она снилась, незабытая и незабываемая, ласковая и безжалостная, светлая и горькая, прежняя их родина. Хата, заваленная на сторону. Поле в ромашках. Речка, обмелевшая за лето. Луговая трава, бархатная и прохладная под босыми ногами. Тихие, зачарованные переулки. Бульвар в аллеях. Опечаленное лицо друга...

Они оглядывались назад, ушедшие, и каменели, и стояли соляными истуканами, у которых от воспоминаний щемило сердце...

Так было. Так есть. Так будет.

Никто за нас не станет жить. Никто за нас не пройдет этот путь. Или мы, или – потомки наши.

Из Египта тоже, наверное, уходили не все евреи. Оставшиеся – растворились, исчезли сначала в египтянах, а потом – вместе с ними. Ушедшие – обрели родину.

И все-таки... Что же нам будет сниться? Нам, улетающим? Там, на новом месте?

Взлетая, мы не обрываем корней.

Они потянутся следом за нами, за самолетом, куда бы мы ни направились.

От самого аэропорта "Шереметьево"...

4.

Взлетая, мы оставляем знакомое.

Приземляясь, мы попадаем в неведомое.

Ожидая своей очереди, мы теряемся в догадках, основанных на слухах и обрывочных сведениях.

Нас лишают информации. Нам подсовывают искаженное. И не всякий способен продраться через привычную, годами устоявшуюся веру в официальные сообщения.

И потому еще – хаос, тьма, отдельные, отрывочные видения, как при ночной вспышке молнии.

Но время идет, улетают люди, самолет за самолетом, и плотью наполняется пока нам неведомое, характерами и привычками, лицами и походками, цветом и запахом.

Улетают малые дети: им везде одинаково. Их память – чистые страницы.

Улетают молодые: к новым местам, к новым друзьям.

Улетают старики: с багажом воспоминаний, который не перебрать за оставшиеся годы.

Труднее всего среднему возрасту.

В эти годы ты уже прочно привязан к прошлому. В эти годы ты еще очень рассчитываешь на будущее.

Но в сорок лет не заведешь себе друзей. В сорок лет не подладишься под чей-то характер, не переделаешь себя ради новых знакомств.

А со старыми даже переписки не будет...

Что говорят обычно на прощанье? "Пишите!" "Звоните!" "Приезжайте!" Но в нашем случае все не так. Они вас не попросят, и вы, конечно, не рискнете.

Вам – уезжать. Им – оставаться.

И вы не станете их подводить своей назойливой и опасной дружбой...

С робкими друзьями распрощайтесь дома.

Со смелыми – в аэропорту "Шереметьево"...

5.

"Шереметьево" — это крематорий с плясками.

Прощаются навсегда, навечно, безвозвратно посреди экзотических иностранцев, бойких сотрудников Интуриста, равнодушных пассажиров и кокетливых стюардесс, милиционеров, переодетых в штатское, и штатских, переодетых милиционерами.

Там хоть наедине, в крематории, тихо и благоговейно, а тут — в сутолоке, на людях.

Там хоть с торжественностью, приличествующей случаю, а тут — в равнодушной, оскорбительной спешке.

Там — мертвые опускаются вниз, медленно и печально, под звуки органа, тут — отъезжающие уходят наверх, оставляя родных внизу, в слезах и рыданиях, посреди случайной, любопытствующей толпы.

И никто не уважает их, отъезжающих и остающихся. И никто не уважит их, предоставив комнату, каморку, отгороженный угол для последнего плача-поцелуя. Только презрительное высокомерие. Только развеселое ерничанье.

Униженные — унижают сами.

Оскорбленные — оскорбляют.

Претерпевшие издевательства — издеваются вдесятеро над беззащитными.

И вот они уже уходят наверх, за толстое, звуконепроницаемое стекло, и высматривают тех, внизу, и что-то говорят, и жестикулируют отчаянно, но преграда легла между ними, преграда неодолима, и тем уже не услышать этих, и этим тех не понять.

Не люди — тени. Призраки. Силуэты за толстым стеклом.

И Харон-перевозчик уже объявляет по радио посадку на самолет...

Громко. Отчетливо. Равнодушно-механически.

На все "Шереметьево"...

6.

Трещина пролегла посреди евреев.

Глубокая, извилистая трещина, как при мощном землетрясении.

Трагедии в семьях.

Мать и сын. Муж и жена. Дед и внук. Любые варианты с проклятиями, слезами, угрозами, жалобами, обвинениями, драками, доносами и инфарктами. Молодой оказывается мудрее старого. Старый — смелее молодого. Любые варианты, густо замешанные на подозрениях, непониманиях, страхе остающихся.

Трещина идет через семьи. Трещина идет через наши сердца.

Мы страдаем и уезжаем. Они страдают и остаются. Мы не убеждаем их. Они не убеждают нас.

Неестественно созданные обстоятельства. Неестественно сложившиеся отношения.

А все из-за чего?

Если бы мы могли подойти к кассе и купить спокойно билет! Просто подойти и просто купить. И уехать. И приехать обратно, в гости. Или позвать их к себе. В любое время. Когда захотел. Ах, как это странно! Как нелепо! Только вдумайтесь: считанные часы полета — и годами неодолимая пропасть! Стоило ли после этого родиться в двадцатом веке? Стоило изобретать самолеты?..

Все упирается в "Шереметьево". В открытое, радушное, круглосуточное и бесперебойное "Шереметьево".

А пока этого нет, трещина пролегла посреди евреев. И самая последняя, самая болезненная — через аэропорт "Шереметьево".

Стонут — в "Шереметьево"...

Проклинают — в "Шереметьево"...

Падают в обморок — тоже в "Шереметьево"...

А ведь есть еще Чоп, Брест, Унгены — пограничные железнодорожные станции.

7.

Матовые стекла квадратами.
Окантовка белого металла.
Это стена – высотой под три метра.
За стеной – невидимая нам лестница.
Над стеной – балкончик.
Улетающие – после таможенного досмотра – поднимаются по лестнице и выходят на балкончик, чтобы с него уйти уже навсегда, за толстое стекло.

В этот момент мы их видим.
В этот момент мы их слышим.
В этот момент прощаемся...
На балкончике стоять не разрешается!
С балкончика гонят.
Пять секунд – и все...
Запомните это место.
Включите в каталоги для туристов.
Исторический памятник.
Охраняется государством.
Повторяем:
Матовые стекла квадратами.
Окантовка белого стекла.
Стена плача.
Вторая половина двадцатого века.
Москва.
Аэропорт "Шереметьево"...

8.

Но мы еще дождемся!
Вот увидите, мы дождемся!
Не мы – дети наши.
В "Шереметьево", в международном аэропорту, на самом видном месте будет стоять памятник "Взлетающий еврей".

Поверьте! Я верю в это...

Памятник еврею, который лбом своим, горбом

своим, неврозами и сердечно-сосудистой недостаточностью открыл из России окно в Европу. Не Петр Первый, — причем тут Петр? — а именно этот тихий и незаметный, упрямый и настырный еврей. Приучил, сделал обыденным, заставил привыкнуть к мысли, что недостаточно иметь в доме окно. Это окно должно еще открываться.

На правах инициатора предлагаю свой вариант памятника.

Пусть скульптор изобразит его в момент отрыва от взлетной полосы. Он уже в воздухе, уже в полете, в трудном состоянии набора высоты, и только кончики пальцев одной ноги еще касаются бетонной плиты. В руках у еврея тяжеленные чемоданы, на плечах — дети, за спиной развевается по ветру жена, уцепившаяся за его пиджак, на ногах повисли два милиционера. Глаза у еврея шальные, лоб потный, улыбка блуждающая, волосы в беспорядке, галстук сбит на сторону. Вот и все. И еще постамент. Непременно низкий. А на нем – букетик ромашек.

На самом видном месте.

В аэропорту "Шереметьево"...

9.

Но вот уже запущены моторы.

Розданы леденцы и гигиенические пакеты.

Самолет выруливает на взлетную полосу.

"Не курить! Пристегнуть ремни!"

И вот он уже разбегается...

Миг, краткий миг перед отрывом...

Что же мы скажем на прощание?

Чем отблагодарим землю, приютившую нас? Скажем так:

– Страна, из которой можно уехать, это страна, в которой можно жить.

Мы уезжаем – это и есть наша благодарность.

Мы уезжаем – это и есть наш вклад.

Мы уезжаем – большего мы не в силах для тебя сделать, наша первая родина.

Смейтесь сегодня и злобствуйте, издевайтесь и проклинайте – это мы, мы приоткрыли ваше окно!

Зрячим – не увидеть.

Мудрецам – не понять.

Время разберется во всем.

Прощай, аэропорт "Шереметьево"!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Начиная эту работу, я уже томился неподъемностью задачи.

Закончив ее, угнетен невысказанностью...

Эта книга писалась в Москве. Потом — в Иерусалиме.

Я сознательно не исправлял то, прежнее, московское: таким я был тогда, так думал и чувствовал, — таким мне и оставаться на страницах книги.

Я сознательно не писал о том, чего не знал, не видел, не потрогал, — и потому тут нет многого, в этой книге, тут только девять страниц истории. Другие напишут про остальное.

Я опросил многих и многих: что они увидели, что прочувствовали и запомнили на наших общих путях выезда из России, — им всем, неназванным, моя благодарность.

И еще одно...

Это было в семьдесят седьмом году. Летом. Я пришел, как обычно в субботу, к синагоге на улице Архипова и узнал, что мой знакомый, тоже отказник, получил, наконец, разрешение. Это очень сложное чувство, которое охватывает тебя, когда узнаешь такую новость. И радость за него. И надежда. И грусть. И отчаяние, порой: когда же, наконец, мой черед?!

И вот тогда, в тот день, подходит ко мне Ханна Ароновна и говорит, — а глаза сияют: "Следующим, — говорит, — уедете вы". "Ну что же, — отвечаю, — я с удовольствием. Но почему вы так решили?" "А мне приснилось, — говорит, — что следующим из отказников уедете вы".

Посмеялись. Забыли...

А через два месяца я получил разрешение. Я и на самом деле был следующим...

— Ну! — ликовала Ханна Ароновна. — Что я говорила?!

— Ханна Ароновна, — сказал я тогда. — Обещаю

вам! Постараюсь! Сделаю все, что в моих силах, чтобы вы мне приснились... И вы, и Саул Моисеевич.

Но они мне так и не приснились. До сих пор...

У солдат, у бывших фронтовиков, есть свое братство, окопное братство, которое сохраняется даже через много-много лет.

У заключенных есть лагерное братство.

У нас, – у бывших отказников, и у отказников теперешних, – тоже есть наше братство. Потому что мы вместе стояли, вместе держались, вместе горевали и радовались, провожали на аэродромах и хоронили на кладбищах. И для отказника я буду делать все, что смогу. Все, что в моих силах. И свыше моих сил...

И меня очень огорчает, огорчает до сих пор, – хотите смейтесь – хотите нет, – что они мне так и не приснились, Ханна Ароновна и Саул Моисеевич, не приснилось мне до сей поры их освобождение, их встреча с сыновьями... И не только они, – другие тоже пока не приснились, те, что годами ждут по тюрьмам-ссылкам-отказам время своего освобождения.

Эта книга – моя попытка им всем помочь.

Тешу себя надеждой...